

ДЖЕК ЛОНДОН

«ДОРОГА» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)

Признание

В штате Невада есть женщина, которой я однажды на протяжении нескольких часов лгал упорно, последовательно и нагло. Я не винюсь перед ней — упаси бог! Но объяснить ей кое-что мне бы хотелось. К сожалению, я не знаю ни имени ее, ни тем более теперешнего адреса. Может, ей случайно попадутся эти строки, и она не откажется черкнуть мне несколько слов. Это было в городе Рено, штат Невада, летом тысяча восемьсот девяносто второго года. Время стояло ярмарочное, и пропасть жулья и всякого продувного народа наводнила город, не говоря уж о бродягах, налетевших голодной саранчой. Собственно, голодные бродяги и делали город «голодным». Они так настойчиво толкались в двери с черного хода, что двери притаились и молчали.

«В таком городе не больно разживешься», — говорили бродяги. Мне, во всяком случае, то и дело приходилось «забывать про обед», хоть я мог с кем угодно потягаться, когда надо было «перехватить займы», «пострелять», забрести «на дымок», «напроситься в гости» или подцепить на улице «легкую монету». И так не повезло мне в этом городишке, что в один прекрасный день, увернувшись от проводника, я вторгся очертя голову в неприкосновенный вагон, личную собственность какого-то бродячего миллионера. Поезд как раз тронулся, когда я вскочил на площадку вагона и устремился к его хозяину, преследуемый по пятам проводником, который уже простирал руки, готовясь меня схватить. Гонка была отчаянная: не успел я настичь миллионера, как мой преследователь настиг меня. Тут уж было не до обмена приветствиями. Задыхаясь, я выпалил: «Дайте четвертак — пожрать!» И, клянусь вам, миллионер полез в карман и дал мне... ровным счетом... двадцать пять центов. Мне думается, он был так ошеломлен, что действовал машинально. Я по сию пору простить себе не могу, что не нагрел его на доллар. Уверен, что он дал бы и доллар. Я тут же соскочил на ходу, к великому разочарованию проводника, который всячески норовил залепить мне по физиономии, без особого, впрочем, успеха. Но незавидное, скажу я вам, положение: представьте, что вы висите на поручне вагона и прыгаете с нижней ступеньки, стараясь не разбиться, а в это самое время разъяренный эфиоп, стоя на площадке, тычет вам в лицо сапожищем сорок шестого размера! Но как бы там ни было, а деньгами я разжился!

Однако вернемся к женщине, которой я так безбожно лгал. В тот день я уже намеревался отбыть из Рено. Дело было под вечер. Я задержался на бегах — любопытно было поглядеть на тамошних лошадок — и не успел, что называется, «перекусить», вернее, не ел с утра. Аппетит у меня разыгрался, а между тем мне было известно, что в городе организован комитет безопасности и что ему надлежит избавить жителей от голодных бродяг, вроде меня, грешного. Немало бездомных моих собратьев попало уже в руки Закона, и солнечные долины Калифорнии тем неотступнее звали меня перемахнуть через хмурые гребни Сьерры. Но прежде чем отрясти от ног своих пыль города Рено, мне надо было решить две задачи: первая — еще этим вечером забраться на «глухую» площадку в поезде дальнего следования, идущем на запад, и вторая — слегка подкрепиться на дорогу. Ибо, даже если вы молоды, вам не понравится на голодный желудок трястись целую ночь напролет где-нибудь на площадке или крыше вагона, мчащегося во весь опор сквозь бураны и тоннели, мимо устремленных в небо снеговых вершин.

Но подкрепиться было не так-то просто. Меня уже «попросили» из десятка домов. По моему адресу то и дело летели нелестные замечания вроде того, что по мне скучает некий уютный уголок за решеткой и что это самое подходящее для меня место. Увы, все эти замечания были

недалеки от истины. Потому-то я и собирался этим вечером податься на запад. В городе хозяйничал Закон, он охотился за сырыми и голодными, этими повседневными жильцами его владений за решеткой.

Были дома, где двери захлопывались у меня перед носом, обрывая на полуслове мою учтивую, нарочито смиренную просьбу пожертвовать что-нибудь на пропитание. В одном доме мне и вовсе не открыли. Я стоял на крыльце и стучался, а в окне стояли люди и глазели на незваного гостя. Кто-то поднял на руки упитанного бутуза, чтобы и он через головы взрослых полюбовался на бродягу, которого в этом доме не намерены были покормить.

Я уже подумывал перенести свои поиски в кварталы бедняков. Бедняк — это последний и верный оплот голодного бродяги. На бедняка всегда можно положиться: он не прогонит голодного от своего порога. Как часто, странствуя по Штатам, я безуспешно стучал в двери роскошных особняков на вершине холма; но не было случая, чтобы где-нибудь в речной низине или на гнилом болоте из лачуги с разбитыми окошками, заткнутыми тряпьем, не показалась изнуренная работой женщина и по-матерински приветливо не предложила мне зайти. О вы, лицемеры, проповедующие милосердие! Ступайте к беднякам и поучитесь у них, ибо только бедняк знает, что такое милосердие. Бедняк дает — или отказывает — не от избытков своих. Какие у него избытки! Он дает — и никогда не отказывает — от бедности своей и часто делится последним. Кость, брошенная псу, не говорит о милосердии. Милосердие — это кость, которую делишь с голодным псом, когда ты так же голоден, как и он.

Особенно запомнился мне разговор в одном доме, где меня в этот вечер выставили за порог. Окна столовой выходили на террасу, и я увидел человека, который, сидя за столом, уписывал пудинг — большущий мясной пудинг. Я стоял у двери, и, разговаривая со мной, он ни на минуту не отрывался от еды. Это был преуспевающий делец, с вершин успеха презрительно взиравший на тех, кому не повезло в жизни.

Он грубо оборвал мою просьбу дать мне поесть, прорычав сквозь зубы:

— Работать, небось, не хочешь?

Станный ответ! Ведь я и не заикнулся о работе. Речь шла о еде. Я и в самом деле не намерен был работать: я собирался этой же ночью поймать поезд, идущий на запад.

— Дай тебе работу, ты наверняка откажешься, — язвительно продолжал он.

Я взглянул на его робкую жену и понял, что только присутствие этого цербера мешает мне получить свою долю угощения. А между тем цербер продолжал уплетать пудинг.

Обстоятельства требовали уступок, и я скрепя сердце сделал вид, будто согласен с его моралью о необходимости работать.

— Разумеется, я хочу работать, — солгал я.

— Враки! — презрительно фыркнул он.

— А вы испытайте меня, — настаивал я с задором.

— Ладно, — сказал он. — Приходи завтра туда-то и туда-то (я забыл куда), ну, где погорелый дом. Я поставлю тебя разбирать кирпич.

— Слушаюсь! Приду непременно.

Он что-то хрюкнул и опять уткнулся в тарелку. Я не уходил. Прошла минута, другая, и он воззрился на меня: какого, дескать, черта тебе еще надо?

— Ну! — властно гаркнул он.

— Я... А вы не покормите меня? — спросил я как можно деликатнее.

— Так я и знал, что ты не хочешь работать! — заорал он.

Положим, он был прав, но ведь это значит заниматься чтением мыслей; с точки зрения логики, его рассуждения никуда не годились. Однако нищему у порога приличествует смирение, и я принял его логику, как раньше его мораль.

— Видите ли, — продолжал я так же деликатно. — Я уже сейчас голоден. Что же будет со мной завтра! А ведь мне предстоит таскать кирпич, легко ли целый день работать на голодный желудок? Покормите меня сегодня, и завтра мне будет как раз в пору возиться с вашим кирпичом.

Не переставая жевать, он как будто задумался над моими словами. Я видел, что робкая жена готова за меня заступиться, но она так и не собралась с духом.

— Вот что я сделаю, — сказал он, дожевывая один кусок и принимаясь за другой. — Выходи утром на работу, а в полдень, так и быть, дам тебе немного вперед, чтобы ты мог пообедать. Тогда будет ясно, хочешь ты работать или нет.

— А пока что... — начал я, но он не дал мне договорить.

— Нет, голубчик, — сказал он. — Я вашего брата знаю. Вас накорми, а потом ищи ветра в поле. Посмотри на меня: я никому ни гроша не должен. Я в жизни ни у кого крошки хлеба не попросил и счел бы это за унижение. Я всегда жил на свои заработки. А твоя беда в том, что ты ведешь беспутную жизнь и бежишь от работы. Сразу видно, стоит на тебя посмотреть! Я всегда жил честным трудом. Я одному себе обязан тем, что вышел в люди. И ты можешь добиться того же, возьми только за ум и стань честным тружеником.

— Таким, как вы? — спросил я.

Увы, заскорузлая душа этого человека, болтавшего о труде, была недоступна юмору.

— Да, — буркнул он, — таким, как я.

— И вы это каждому посоветуете?

— Да, каждому, — сказал он убежденно.

— Но если все станут такими, как вы, кто будет таскать для вас кирпич, позвольте вас спросить?

Клянусь, в глазах его жены мелькнуло некое подобие улыбки. Что касается его самого, то он был взбешен — то ли пугающей перспективой жить в новом, преображенном обществе, где некому будет таскать для него кирпич, то ли моей наглостью, — затрудняюсь сказать.

— Довольно! — взревел он. — Я не намерен больше с тобой разговаривать! Вон отсюда, щенок неблагодарный!

Я переступил с ноги на ногу в знак того, что не стану утруждать его своим присутствием, и только спросил:

— Значит, вы меня не покормите?

Он вскочил. Это был человек внушительных размеров. Я же чувствовал себя чужаком на чужой стороне, и за мной охотился Закон. Надо было убираться подобру-поздорову. «Но почему же неблагодарный? — спрашивал я себя, с треском захлопывая калитку. — За какие милости должен я его благодарить?» Я оглянулся. Его фигура все еще маячила в окне. Он опять набросился на пудинг.

Но тут мужество оставило меня. Я проходил мимо десятка дверей, не решаясь постучать. Все дома были на одно лицо, и ни один не внушал доверия. Только пройдя несколько кварталов, я приободрился и взял себя в руки. Попрошайничество было для меня своего рода азартом: если мне не нравилась моя игра, я всегда мог стасовать карты и пересдать. Я решил сделать новую попытку — постучаться в первый попавшийся дом. Сумерки спускались на землю, когда, обойдя вокруг дома, я остановился у черного хода.

На мой робкий стук вышла женщина средних лет, и при первом же взгляде на ее милое, приветливое лицо меня словно осенило: я уже знал наперед, что я ей расскажу. Ибо, да будет это известно, успех бродяги зависит от его способности выдумать хорошую «историю».

Попрошайка должен прежде всего «прикинуть на глазок», что представляет собой его жертва, и сообразно с этим сочинить «историю» применительно к нраву и темпераменту слушателя.

Главная трудность здесь в том, что, еще не раскусив свою жертву, он уже должен приступить к рассказу. Ни минуты не дается ему на размышление. Мигом изволь разгадать стоящего перед тобой человека и придумать нечто такое, что брало бы за сердце. Бродяга должен быть артистом. Он импровизирует по наитию и тему черпает не в избытке своего воображения, — тему подсказывает ему лицо человека, вышедшего на его стук, будь то лицо мужчины, женщины или ребенка, иудея или язычника, человека белой или цветной расы, зараженного расовыми предрассудками или свободного от них, доброе или злое, приветливое или отталкивающее, говорящее о щедрости или о скупости, о широте мировоззрения или

мещанской ограниченности. Мне не раз приходило в голову, что своим писательским успехом я в значительной мере обязан этой учебе на дороге. Чтобы добыть дневное пропитание, мне вечно приходилось что-то выдумывать, памятуя, что рассказ мой должен дышать правдой. Та искренность и убедительность, в которых, по мнению знатоков, и заключается искусство короткого рассказа, рождены на черной лестнице жестокой необходимостью. Я убежден, что писателем-реалистом сделала меня школа бродяжничества. Реалистическое искусство — это единственный товар, за который вам на черной лестнице дадут кусок хлеба.

Всякое искусство в конечном счете — изошренное надувательство, и только известная ловкость помогает рассказчику сводить концы с концами. Помню, как мне пришлось изворачиваться и лгать в полицейском участке города Виннипега, в провинции Манитоба. Я направлялся на запад по Канадско-Тихоокеанской дороге. Разумеется, полисмены пожелали услышать мою биографию, и я стал врать напрапалу. Это были сухопутные крысы, не нюхавшие моря, а в таких случаях нет ничего лучше, нежели морской рассказ. Тут уж ври, что бог на душу положит, никто не придерется. И я рассказал им чувствительную историю о том, как мне пришлось служить на судне «Гленмор» (в Сан-Францисском заливе я видел судно с таким названием).

Я отрекомендовался англичанином и сказал, что служил на корабле юнгой. Мне возразили, что говорю я отнюдь не как англичанин. Надо было как-то выкрутиться, и я сказал, что родился и вырос в Соединенных Штатах, но после смерти родителей был отослан к дедушке и бабушке в Англию. Они-то и отдали меня в учение на «Гленмор». И — да простит мне капитан «Гленмора»

— досталось же ему в тот вечер в виннипегском полицейском участке: это был злодей, изверг, мучитель, наделенный изуверской изобретательностью. Вот почему в Монреале я дезертировал с корабля.

Но если дедушка и бабушка у меня живут в Англии, почему же я оказался здесь, в самом сердце Канады, и держу путь на запад? Не долго думая, я вывел на сцену замужнюю сестру, проживающую в Калифорнии: сестра хочет взять меня к себе. И я вдался в подробное описание этой превосходной, добрейшей женщины. Однако жестокосердые полисмены этим не удовлетворились. Допустим, что я в Англии нанялся на пароход. В каких же морях побывал «Гленмор» и какую он нес службу за истекшие два года? Делать нечего, я отправился с этими сухопутными крысами в дальнее плавание. Вместе со мной их трепало бурями и обдавало пеной разбушевавшихся стихий, вместе со мной они выдержали тайфун у японских берегов. Вместе со мной грузили и разгружали товары во всех портах Семи Морей. Я побывал с ними в Индии, в Рангуне и Китае, вместе со мной они пробивались через ледяные поля у мыса Горн, после чего мы наконец благополучно ошвартовались у Монреала.

Тут они предложили мне подождать, и один из полисменов нырнул в темноту ночи, оставив меня греться у огня и безуспешно гадать, какую еще ловушку мне готовят.

Сердце у меня екнуло, когда я увидел его на пороге, за плечом вернувшегося полисмена. Нет, не цыганская любовь к побрякушкам продела в эти уши серьги из тончайшей золотой проволоки; не ветры прерий дубили эту кожу, превратив ее в измятый пергамент; не снежные заносы и горные кручи выработали эту характерную с развальцем походку. И разве не солнце Южных морей выбелило эти устремленные на меня глаза? Передо мной — увы! — повелительно встала тема, на которую мне предстояло импровизировать под бдительным оком пяти полисменов, — мне, никогда не бывшему в Китае, не огибавшему мыса Горн, не видевшему ни Индии, ни Рангуна.

Отчаяние овладело мной. На лице этого закаленного бурями сына морей с золотыми серьгами в ушах я читал свой приговор. Кто он и что собой представляет? Я должен был разгадать его еще до того, как он разгадает меня. Мне надо было взять твердый курс, прежде чем стервецы-полисмены возьмут курс на то, чтобы переправить меня в тюремную камеру, в полицейский суд, в энное число тюремных камер. Если он первым начнет задавать вопросы, прежде чем я узнаю, что он знает, мне крышка.

Но выдал ли я свою растерянность виннипегским блюстителем порядка, сверлившим меня рысьими глазками? Как бы не так! Я встретил моряка восторженно, сияя от радости, с видом величайшего облегчения, какое испытывает тонущий, когда последним, судорожным усилием хватается за спасательный круг. Вот кто поймет меня и подтвердит мой правдивый рассказ этим ищейкам, не способным ничего понять, — таков был смысл того, что я всячески старался изобразить. Я буквально вцепился в моряка и забросал его вопросами: кто он, откуда? Я как бы ручался этим судьям за честность своего спасителя еще до того, как он меня спасет.

Это был добродушный человек, его ничего не стоило обвести вокруг пальца. Наконец полисменам надоел учиненный мной допрос, и мне было приказано заткнуться. Я повиновался, а между тем голова моя напряженно работала над сценарием следующего акта. Я знал достаточно, чтобы отважиться на дальнейшее. Это был француз. Он плавал на французских торговых кораблях и только однажды нанялся на английское судно. А главное — вот удача! — он уже двадцать лет не выходил в море.

Полисмен торопил его, предлагая приступить к экзамену.

— Бывал в Рангуне? — осведомился моряк.

Я утвердительно кивнул.

— Мы оставили там нашего третьего помощника. Сильнейший приступ горячки.

Если бы он спросил, какой горячки, я сказал бы «септической», а сам, хоть убей, не знал, что это такое. Но он не спросил. Вместо этого он поинтересовался:

— Ну как там, в Рангуне?

— Недурно. Все время, пока мы там стояли, дождь лил как из ведра.

— Отпускали тебя на берег?

— А то как же! Мы, трое юнг, ездили на берег вместе.

— Храм помнишь?

— Это который же? — сманеврировал я.

— Ну, самый большой, с широкой лестницей.

Если бы я помнил храм, мне бы предложили описать его. Подо мной разверзлась бездна.

Я покачал головой.

— Да его видно с любого места в гавани, — пояснил он. — Даже не сходя с корабля.

Я всегда был равнодушен к храмам. Но этот рангунский храм я просто возненавидел. И я расправился с ним без сожаления.

— Ошибаетесь, — сказал я. — Его не видно из гавани. Его не видно из города. Его не видно даже с вершины лестницы. Потому что, — я остановился, чтобы усилить впечатление, — потому что там нет никакого храма.

— Но я видел его собственными глазами! — воскликнул моряк.

— Это в котором же году? — допрашивал я.

— В семьдесят первом.

— Храм был уничтожен великим землетрясением тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года, — объявил я. — Он был очень старый.

Наступило молчание. Перед потускневшим взором моего собеседника оживало видение юношеских лет: прекрасный храм на берегу далекого моря.

— Лестница сохранилась, — поспешил я утешить его. — Ее видно из любой точки гавани. А помните небольшой остров, направо, у самого входа в порт?

— Очевидно, там был такой остров (я уже приготовился перенести его налево), потому что он кивнул в ответ. — Его точно языком слизало! Там теперь семь морских саженей глубины.

Я перевел дыхание и, пока он размышлял о том, как все меняется на свете, придумывал для своей повести заключительные штрихи.

— А помните Бомбейскую таможню?

Да, он ее помнил.

— Сгорела дотла, — объявил я.

— А ты помнишь Джима Уона? — спросил он, в свою очередь.

— Помер, — сказал я, хоть я понятия не имел, кто такой Джим Уон.

Опять подо мной затрещал лед.

— А помните в Шанхае Билли Харпера? — перешел я в наступление.

Старый моряк тщетно ворошил свои поблекшие воспоминания — ничто не напоминало ему о мифическом Билли Харпере.

— Ну, ясно, вы помните Билли Харпера, — настаивал я. — Его ж все знают! Он уже сорок лет там безвыездно. Ну, так представьте, он и сейчас там, ничего ему не делается.

И тут случилось чудо. Старый моряк вспомнил Билли Харпера! Может, и правда был такой Билли Харпер, может, он и правда сорок лет назад приехал в Шанхай и живет там поныне. Для меня, во всяком случае, это была новость.

Еще битых полчаса толковали мы с ним, и все в таком же роде. Наконец он сказал полисмену, что я гот, за кого себя выдаю. Я переночевал в участке и даже получил утром завтрак и мог без помехи продолжать свое путешествие к замужней сестре в Сан-Франциско.

Но вернемся к женщине в городе Рено, открывшей мне дверь в тихий вечерний час, когда на землю ложились сумерки. Достаточно было взгляда на ее милое, приветливое лицо, и я уже знал, какую роль мне придется играть перед ней. Я почувствовал себя славным, простодушным малым, которому не повезло в жизни. Я открывал и закрывал рот, показывая, как трудно мне заговорить: ведь я в жизни ни к кому не обращался за куском хлеба. Мною владела крайняя, мучительная растерянность. Мне было стыдно. Я, смотревший на попрошайничество, как на забавное озорство, вдруг обернулся этаким сыном миссис Грэнди¹, зараженным всеми ее буржуазными предрассудками. Только пытки голода могли толкнуть меня на постыдное и унижительное попрошайничество. И я старался изобразить на лице тоску и смятение бесхитростного юноши, доведенного до отчаяния длительной голодовкой и впервые протягивающего руку за подаванием.

— Бедный мальчик, вы голодны, — сказала она.

Я-таки заставил ее заговорить первой.

Я кивнул и проглотил непрошенные слезы.

— Мне еще никогда, никогда не приходилось... просить, — пробормотал я.

— Да заходите же! — Она широко распахнула дверь. — Мы, правда, отужинали, но плита еще топится, я приготовлю вам что-нибудь на скорую руку.

Когда я вступил в полосу света, она пристально поглядела на меня.

— Экий вы статный и крепкий, — сказала она. — Не то что мой сынок. Он у меня страдает припадками. Вот и сегодня упал бедняжка и разбился.

В ее голосе было столько материнской ласки, что я потянулся к ней всем существом. Я взглянул на ее сына. Он сидел против меня за столом, худой и бледный, голова в бинтах. Он не шевелился, и только его глаза, в которых отражался свет лампы, испытующе удивленно уставились на меня.

— Точь-в-точь мой бедный папа, — сказал я. — Он тоже падал. Это такая болезнь — кружится голова. Доктора не знали, что и думать.

— Ваш папа умер? — осторожно спросила она, ставя передо мной тарелку, на которой лежал пяток сваренных всмятку яиц.

— Умер. — Я снова проглотил воображаемые слезы. — Две недели назад. Вдруг, у меня на глазах. Мы переходили улицу, он упал на мостовую... И так и не пришел в сознание. Его отнесли в аптеку: там он и скончался.

И я стал рассказывать ей грустную повесть о моем отце, как после смерти матушки мы оставили наше ранчо и поселились в Сан-Франциско. Как его пенсии (он был старый солдат) и небольших сбережений нам не хватало, и он сделался агентом по распространению печатных

¹ Миссис Грэнди — персонаж популярной пьесы английского драматурга Мортон (1764 — 1838), олицетворение ханжества.

изданий. Я рассказал также о собственных злключениях, как после смерти отца я очутился на улице и несколько дней, одинокий и потерянный, бродил по городу. Пока добрая женщина разогревала мне бисквиты, жарила ломтики грудинки и варила новую партию яиц, я, расправляясь со всем этим, продолжал набрасывать портрет бедного, осиротевшего юноши, вписывая в него все новые детали. Я и в самом деле превратился в этого бедного юношу. Он был для меня такой же действительностью, как яйца, которые я уплетал. Я готов был плакать над собственными горестями, и раза два голос мой прерывался от слез. Это было здорово, скажу я вам!

И положительно каждый мазок, которым я оживлял этот портрет, находил отзвук в ее чуткой душе, и она удесятерила свои милости. Она собрала мне еды в дорогу, завернула крутые яйца, перец, соль и еще какую-то снедь да большое яблоко в придачу. Подарила мне три пары красных плотных шерстяных носков, надавала чистых носовых платков и еще невесть чего — всего и не упомнишь. И все время она готовила мне новые и новые блюда, которые я исправно уничтожал. Я обжирался, как дикарь. Перевалить через Сиерру на положении бесплатного груза было весьма серьезным предприятием, а ведь я понятия не имел, когда и где придется следующий раз пообедать. И все время, подобно черепу, напоминающему за пиршеством о смерти, ее собственный злосчастный сын сидел тихо, не шелохнувшись, и не сводил с меня немигающих глаз. Должно быть, я был для него воплощенной загадкой, романтическим приключением — всем тем, на что не мог его подвигнуть слабый огонек жизни, чуть теплившийся в тщедушном теле. И все же на меня нет-нет да и нападало сомнение: а не видят ли эти глаза насквозь все мое фальшивое, изолгавшееся нутро?

— Куда же вы едете? — спросила женщина.

— В Солт-Лейк-Сити, — ответил я. — Там живет моя сестра. Она замужем (у меня был минутный соблазн объявить сестру мормонкой, не я вовремя одумался). У зятя водопроводная контора, он берет подряды.

Я тут же спохватился, что водопроводчики, берущие подряды, как будто недурно зарабатывают, но слово уже сорвалось с языка, — пришлось пуститься в объяснения.

— Если б я написал, они, конечно, выслали б мне на дорогу. Но оба они болеют, а теперь и дела у них пошатнулись. Зятя обобрал компаньон. Мне не хотелось вводить их в лишние расходы. Я знал, что как-нибудь доберусь, и написал, что наскребу на проезд до Солт-Лейк-Сити. Сестра у меня красавица, редкой доброты женщина. И очень ко мне привязана. Очевидно, я начну работать у шурина и со временем изучу дело. У сестры две девочки, обе меня моложе. Младшая — совсем еще ребенок.

Из всех замужних сестер, которых я рассеял по городам Соединенных Штатов, особенно близка моему сердцу сестра в Солт-Лейк-Сити. Это, можно сказать, вполне реальная личность.

Рассказывая о ней, я воочию вижу ее, ее мужа водопроводчика и их маленьких девочек. Сестра — видная, рослая женщина с добрым лицом и заметной склонностью к полноте, — ну, знаете, одна из тех милых женщин, которых невозможно вывести из себя и которые славятся своим умением печь всякие вкусные штуки. Она цветущая брюнетка. Муж ее — тихий, покладистый человек. Порой мне кажется, что мы с ним старые приятели. Как знать, быть может, когда-нибудь я повстречаюсь с ним. Припомнил же тот старый моряк Билли Харпера! Так и я не теряю надежды встретиться с мужем моей сестры, живущей в Солт-Лейк-Сити.

Зато я совершенно уверен, что никогда не увижу во плоти моих многочисленных родителей, а также бабушек и дедушек, да и не мудрено: ведь я неизменно спроваживал их на тот свет.

Матушка преимущественно умирала от сердца, хотя иной раз я кончал с ней при помощи таких болезней, как чахотка, воспаление легких или тиф. Правда, виннипегские полисмены скажут вам, что в Лондоне у меня есть бабушка и дедушка и что они благополучно здравствуют, но ведь это бог весть когда было; можно сказать с уверенностью, что они давно умерли. Тем более, что писем от них я не получаю.

Надеюсь, моя добрая покровительница в городе Рено, прочтя эти строки, не прогневется на меня за некоторые отступления от истины и добропорядочности. Я не винюсь: мне нисколько

перед ней не совестно. Юность, жизнерадостность и жажда приключений привели меня к ее порогу. Встреча с ней много дала мне. Она открыла мне естественную доброту человеческого сердца. Надеюсь, и ей эта встреча пошла на пользу. Во всяком случае, теперь, когда этот эпизод предстанет перед ней в новом, истинном свете, она, может быть, посмеется от души.

Но тогда мой рассказ не вызвал у нее сомнений. Она уверовала в меня и в мое семейство, и ее крайне заботила предстоявшая мне нелегкая поездка. Ее забота чуть не наделала мне беды. Когда я собрался уходить, нагрузившись припасами и расовав носки по карманам, отчего последние заметно оттопырились, она вспомнила о племяннике, или дяде, или дальнем родственнике, возившем почту: он должен был этой ночью проследовать через Рено тем самым поездом, на котором мне предстояло ехать зайцем. Как это кстати! Она проводит меня на станцию, расскажет ему мою историю, и он спрячет меня у себя в почтовом вагоне. Таким образом, я в полной безопасности и без особых хлопот доберусь до Огдена, а оттуда рукой подать до Солт-Лейк-Сити. Сердце у меня упало. Она с все большим увлечением развивала мне свой план, а я слушал ее со стесненной душой и делал вид, что в восторге от этой удачи, разрешающей все мои затруднения.

Нечего сказать, удача! Мне надо было в тот же вечер сматываться на запад, а тут ни с того ни с сего, здорово живешь, отправляйся на восток! Это была форменная ловушка, но у меня не хватило мужества сказать моей покровительнице, что я бессовестно ее надул. И вот, прикидываясь, что я счастлив и доволен, я тщетно ломал голову в поисках выхода. Но положение было безвыходное, она вознамерилась самолично посадить меня в почтовый вагон, а там ее родственник доставит меня в Огден. Изволь потом всеми правдами и неправдами пробираться назад через пустыню, которая тянется в этих местах на сотни миль.

Однако счастье благоприятствовало мне в тот вечер. Добрая женщина уже собиралась надеть шляпу, чтобы отвести меня на станцию, как вдруг спохватилась, что все перепутала. У ее родственника недавно изменилось расписание, его ждали в Рено не этой ночью, а лишь через двое суток. Итак, я был спасен, ибо какой нетерпеливый юнец согласится отложить выполнение своих планов на целых двое суток! Я самонадеянно заверил свою добрую покровительницу, что доберусь до Солт-Лейк-Сити скорее, если выеду сегодня же, и расстался с ней, напутствуемый ее благословениями и сердечными пожеланиями, которые еще долго отдавались в моих ушах. Но каким сокровищем оказались ее шерстяные носки! Я убедился в этом той же ночью, путешествуя на глухой площадке в поезде дальнего следования, держащем путь на запад!

Держись!

Если не подведет шальная случайность и если — непременно условие — дело происходит ночью, всякий стоящий бродяга, молодой и проворный, может удержаться на поезде, вопреки стараниям кондукторов его ссадить. Достаточно такому бродяге проявить упорство, и он удержится, разве уж очень не повезет. Избавиться от него можно только одним из противозаконных образов, включая убийство. Среди бродяг утвердилось мнение, будто поездная прислуга не останавливается и перед убийством. За верность не ручаюсь, в бытность мою бродягой мне лично сталкиваться с этим не приходилось.

Но вот что я слышал о дорогах, пользующихся репутацией «скверных». Уж если бродяга «забрался под вагон», иначе говоря, устроился на раме, и поезд идет полным ходом, ничего с ним, по-видимому, не поделаешь — до самой остановки. Бродяга, прикорнувший на оси, в уютном соседстве с колесами и иными приспособлениями, плюет на всех — или так ему кажется, — пока не случится ему путешествовать по «скверной дороге». Скверная дорога обычно та, где незадолго был убит бродягами один, а то и несколько железнодорожных

служащих. Горе бродяге, застигнутому под вагоном на такой дороге, — все равно ему крышка, делай поезд хоть шестьдесят миль в час.

Кондуктор, запасшись веревкой и муфтой сцепления, влезает на площадку впереди вагона, где едет бродяга. Прикрепив муфту к веревке, он спускает ее вниз между вагонами и начинает орудовать. Муфта, отлетая от шпал, стучается о платформу заднего вагона и опять ударяется о шпалы. Кондуктор травит веревку, посылая свой снаряд то вперед, то назад, то направо, то налево, предоставляя ему самое обширное поле действия. Каждый удар такого маятника смертелен, а при скорости шестьдесят миль в час он выбивает настоящую зорю смерти. Завтра путевой сторож соберет на полотне останки безбилетного пассажира, и в местной газете промелькнет несколько строк о том, что найден труп неизвестного, предположительно бродяги, должно быть, заплутавшегося, не иначе как в нетрезвом виде, и уснувшего на рельсах.

В качестве примера того, как бывалый бродяга может постоять за себя, приведу случай из своего опыта. Я направлялся из Оттавы на запад по Канадско-Тихоокеанской, собираясь проехать по этой линии три тысячи миль. Была поздняя осень, а мне предстояло пересечь Манитобу и Скалистые Горы. Каждый день могли ударить холода, и любая проволочка грозила путнику всеми прелестями зимней непогоды. К тому же я был в мерзейшем настроении. Между Монреалем и Оттавой всего лишь сто двадцать миль: мне ли не знать — ведь я только что проделал их, ухлопав ни много ни мало шесть дней. По оплошности я вместо главной магистрали угодил на какую-то паршивую ветку, по которой только дважды в день курсировали местные поезда. И все эти шесть дней я жил впроголодь, питаюсь черствым хлебом, — единственное, что можно было выпросить у французских фермеров.

Мерзкое настроение мое еще усилилось после однодневной задержки в Оттаве, где я надеялся раздобыть хотя бы самую необходимую одежку для предстоящей дальней дороги. Да будет известно миру, что для попрошайки, желающего освежить свой гардероб, Оттава, за единственным исключением, самый никудышный город в Канаде и Соединенных Штатах. Исключение я делаю для Вашингтона, Вашингтон — это предел! Две недели промыкался я там, пытаюсь выпросить какие-нибудь опорки, и пришлось катать за ними до самого Нью-Джерси. Но вернемся в Оттаву. Ровно в восемь утра отправился я в поход за одеждой. Я трудился, как колодник! Клянусь, я отшагал не менее сорока миль. Я обошел тысячи квартир и в каждой беседовал с хозяйкой. Я не дал себе времени даже пообедать. И вот к шести часам пополудни, после изнурительного трудового дня, мне все еще не хватало рубашки, а уж что до штанов, та неприглядная пара, которой удалось разжиться, была мне тесна и являла все признаки преждевременного распада.

В шесть я пошабашил и отправился на станцию, рассчитывая перекусить по дороге. Но меня по-прежнему преследовала неудача. Я заходил в один дом за другим и повсюду слышал отказ. Наконец мне вынесли «подаяние». Я воспрянул духом — такого объемистого подаяния мне еще не приходилось видеть за всю мою жизнь многоопытного попрошайки. Это был пакет, завернутый в несколько газетных листов, размером с небольшой чемодан. Я кинулся с ним на ближайший пустырь и развернул его. Первое, на что я наткнулся, были пирожные, затем еще пирожные, а там еще и еще, — словом, целый ассортимент пирожных! Ничего, кроме пирожных! Тщетно искал я среди них основательного бутерброда с толстым аппетитным ломтем мяса — это были сплошь пирожные, а между тем, если есть что-нибудь, от чего у меня с души воротит, так это пирожные. Когда-то, в иные времена и при иных обстоятельствах, некий народ сидел и плакал на реках вавилонских; так и я, сидя на одном из пустырей канадской столицы, обливался слезами... над горою пирожных. Как злосчастный отец взирает на умершего сына, так я смотрел на эту кучу кондитерских изделий. Видно, я и в самом деле неблагодарный бродяга — я отказывался вкушать щедрых даров богатого дома, созвавшего вчера гостей на обильное угощение. Впрочем, гости, должно быть, тоже не обожали пирожных. Пирожные знаменовали вершину моих несчастий. Хуже ничего уже не могло случиться; с этой минуты дела мои должны были пойти на поправку. И действительно, уже в следующем доме я был «приглашен к столу». Такое «приглашение» — нечаянная радость в трудном быту бродяги.

Вас просят войти и даже ведут умыться, а потом сажают за стол. Бездомному бродяге приятно посидеть за столом. Я вошел в просторный уютный особняк, стоявший в глубине двора с обширными лужайками и раскидистыми деревьями. Хозяйева только что отобедали, и меня провели прямо в столовую, а это величайшая редкость в жизни бродяги — в лучшем случае его угощают на кухне. Пока я насыщался, со мной беседовал радушный седовласый англичанин, его добросердечная жена и прехорошенькая молодая француженка.

Интересно, помнит ли еще эта прелестная молодая особа, или уже забыла за давностью лет, как насмешило ее одно мое вульгарное выражение, — я имею в виду слово «трояк». Как видите, не довольствуясь угощением, я решил позондировать почву насчет чего-то посущественнее. Тут-то я и назвал упомянутую сумму денег. «Что такое?!» — спросила она. «Трояк», — ответил я. «Как?» — переспросила она, еле сдерживая улыбку. «Трояк», — повторил я снова. Она разразилась смехом «Пожалуйста, повторите», — попросила она, немного успокоившись. «Трояк», — повторил я. Новый безудержный взрыв серебристого смеха. «Простите ради бога, — взмолилась она, — но что... что вы сказали?» «Трояк, — повторил я еще раз. — Или, может, я что не так говорю?» «Да нет, что вы! — пролепетала она, задыхаясь от смеха. — Просто я вас не совсем понимаю». Я объяснил ей, но так и не припомню, удалось ли мне выудить у нее названную монету. Однако частенько потом я спрашивал себя, кто же из нас двоих был более провинциал.

Придя на станцию, я, к великому своему огорчению, увидел по меньшей мере человек двадцать босяков, намеренных, как и я, зайцем прокатиться на «глухой» площадке поезда дальнего следования. Два-три бесплатных пассажира

— это еще куда ни шло. Они незаметны. Но нас собралась целая орава. Значит — жди беды! Никакая поездная бригада этого не потерпит.

Но не мешает объяснить, что такое «глухая площадка». Некоторые почтовые вагоны лишены дверей по обоим концам. Эти вагоны называются «глухими». А если в почтовых вагонах даже имеются двери на площадку, то их всегда держат на запоре. Предположим, что перед отходом поезда бродяге удастся забраться на такую площадку. Двери в вагоне нет — или она заперта. Ни один кондуктор или проводник сюда не проникнет, чтобы потребовать билета или посадить вас. Ясно, что бродяга сидит себе и посмеивается в кулак — до следующей остановки. Там он соскакивает и бежит вперед, чтобы укрыться в темноте, а как только поезд с ним поравняется, опять прыгает на глухую площадку. Но тут всяко бывает, как вы сейчас увидите.

Поезд тронулся, и два десятка бродяг роем налетели на передние три вагона. Некоторые были уже на площадке, когда поезд не прошел и десяти шагов. Я видел, что это — дубье, совершеннейшие болваны, и что скоро им крышка. Конечно, поездная прислуга начеку, и на следующей же остановке начнутся неприятности. Я соскочил и побежал вперед вдоль рельсов. Вскоре я заметил, что нахожусь в довольно большой компании. Все это были, очевидно, бывалые бродяги. Когда вы едете поездом дальнего следования, держитесь на остановках впереди паровоза на порядочном расстоянии. Я бежал во всю прыть, и мало-помалу мои спутники начали отставать. В этом состязании измерялась ловкость и выдержка в искусстве брать приступом поезд.

Ибо правила игры состоят в следующем. При отходе поезда кондуктор стоит на глухой площадке. Единственный способ для него возвратиться к своим — это соскочить на ходу и сесть на площадку обычного вагона. Пока поезд не набрал большой скорости, он соскакивает, пропускает несколько вагонов и садится где-нибудь посередине. Бродяге поэтому надо оказаться настолько впереди, чтобы, когда глухая площадка с ним поравняется, кондуктор уже ее покинул.

Я опередил ближайшего бродягу футов на пятьдесят и теперь ждал. Поезд тронулся. Я заметил фонарь кондуктора на первой глухой площадке. Он стоял на ней, отъезжая от станции. Я заметил группу давешних болванов, в растерянности стоящих у полотна. Они не делали ни малейшей попытки сесть. Они вышли из строя в самом начале игры по причине собственной тупости и бездарности. За ними, поближе ко мне, стояли бродяги, которые кое-что смыслили в

игре. Они пропустили первую глухую площадку, занятую кондуктором, и вскочили на вторую и третью. Разумеется, кондуктор, соскочив, взобрался на вторую площадку, как только она с ним поравнялась, и принялся расправляться с безбилетными пассажирами, спихивая их на полотно. Мое преимущество заключалось в том, что я был впереди, и, когда первая глухая площадка со мной поравнялась, кондуктор возился с пассажирами второй. Пяток бродяг поопытнее, успевших отбежать достаточно далеко, забрались вместе со мной на первую глухую площадку. На следующей остановке, когда все мы устремились вперед, я насчитал лишь пятнадцать человек. Пятеро отсеклось. Это прореживание, начатое с таким успехом, продолжалось на каждой станции. Позже нас осталось четырнадцать, потом двенадцать, одиннадцать, девять, восемь человек. Мне вспомнилась детская песенка о десяти негритах, число которых раз от разу убывает, и я твердо решил, что буду последним уцелевшим негритенком. А почему бы и нет? Разве не был я молод, здоров, проворен? (Мне исполнилось восемнадцать, и я был, что называется, в форме.) Разве не мог я похвалиться железной выдержкой? И, наконец, разве я не бродяга из бродяг? Все мои случайные попутчики попросту болваны, новички и любители по сравнению со мной. Если я не достоин быть последним негритенком, значит, пора мне выходить в отставку, засесть где-нибудь на ферме и заняться разведением люцерны.

К тому времени, как нас осталось четверо, вся поездная бригада включилась в погоню. С этой минуты борьба приняла характер состязания в хитрости и ловкости, — неравного состязания, с решительным перевесом сил на стороне бригады. Вскоре все мои уцелевшие товарищи вышли из строя, увеличив список потерь, и я остался в единственном числе. Ну и гордился же я! Ни один крез так не гордился своим первым миллионом. Я удерживал свои позиции, несмотря на превосходящие силы противника — два кондуктора, обер-кондуктор, кочегар и машинист.

Вот несколько эпизодов, показывающих, как я держался, несмотря ни на что. Забираюсь вперед, в темноту, так далеко, что кондуктор вынужден соскочить с первой площадки, прежде чем она со мной поравняется, — и сажусь на ходу. Отлично — я выиграл еще перегон. Когда поезд приходит на следующую станцию, я повторяю свой маневр. Поезд трогается. Я слежу за его приближением. На первой глухой площадке что-то не видно фонаря. Неужели бригада так легко сдалась? Я не знаю. В такой борьбе никогда ничего не знаешь наверняка, приходится каждый миг быть начеку. Но вот вагон передо мной, я вскакиваю с разбегу и в то же время напряженно вглядываюсь, — а вдруг кондуктор прячется? Возможно, что он там, с притушенным фонарем, и стоит лишь вскочить на подножку, как тебе разможат фонарем голову. Мне ли этого не знать? Ведь меня уже два-три раза били фонарем.

Нет, нет, первая площадка безусловно пуста. Поезд набирает скорость. Я спасен — до следующей остановки. Но так ли? Чувствую, что поезд опять замедляет ход. Я начеку. Что-то готовится против меня, но что? Нужно смотреть в оба — и влево, и вправо, и вперед, где тендер. Нападение возможно с любой стороны, если не со всех одновременно.

Ага, вот оно что: оказывается, кондуктор был на паровозе. Я увидел его в ту минуту, когда он вскочил на подножку справа от меня. С быстротой молнии соскакиваю налево, бегу вперед, минуя паровоз, и теряюсь в темноте. Словом, я все в том же положении, в каком был все время, с самой Оттавы. Я нахожусь впереди, поезд, продолжая свой путь, пройдет мимо меня, и я, как всегда, рассчитываю на него сесть.

Наблюдаю внимательно. Вижу, как фонарь движется к паровозу, но не вижу, чтобы он оттуда возвратился. Очевидно, он так и остался на паровозе, а с ним, надо полагать, и кондуктор. Кондуктор изрядный ротозей: ему бы погасить фонарь, а он прикрывает его ладонью. Поезд трогается. Первая площадка пуста, и я вскакиваю на нее. Как и раньше, поезд замедляет ход, кондуктор, соскочив с паровоза, поднимается на площадку с одной стороны, а я соскакиваю с другой и со всех ног мчусь вперед.

Я стою в темноте, и сердце у меня бьется от горделивого сознания: поезд дальнего следования дважды останавливался — и ради кого же? Ради меня — нищего, бездомного бродяги. Я дважды остановил поезд дальнего следования, с его многочисленными вагонами и пассажирами, с его правительственной почтой и паровозом, из которого так и прут две тысячи

лошадиных сил. А ведь во мне всего сто шестьдесят фунтов веса, и у меня и пяти центов нет в кармане!

Снова я вижу, как фонарь движется к паровозу. На этот раз он движется открыто, не таясь. Слишком открыто, как мне кажется, и я дивлюсь — к чему бы это? Но тут возникает новая опасность. Поезд тронулся, и я только вознамерился вскочить на первую площадку, как вижу там темную фигуру другого кондуктора, без фонаря. Пропускаю эту площадку и готовлюсь вскочить на вторую. Но кондуктор с первой площадки уже соскочил наземь и бежит за мной следом. Краешком глаза успеваю заметить фонарь кондуктора, ехавшего на паровозе. Фонарь соскочил на полотно, и теперь все мы по одну сторону поезда. Подходит второй вагон, я вскакиваю на площадку, но не задерживаюсь на ней. У меня готов контрход. Бросаюсь через площадку и слышу, как у меня за спиной вскакивает на подножку кондуктор. Я соскакиваю на противоположную сторону и бегу вперед рядом с движущимся составом. Мой план состоит в том, чтобы забраться на первую глухую площадку. Бегу во весь опор, потому что поезд набирает скорость. К тому же следом во весь дух поспешает кондуктор. Но где ему за мной угнаться! Я вскакиваю на подножку первой глухой площадки и с этой позиции наблюдаю за своим преследователем. Он отстал шагов на десять и пыхтит вовсю. Поезд идет уже довольно быстро, и сколько бы кондуктор ни старался, он по отношению ко мне не подвигается ни на пядь. Я кричу ему, чтобы потарапливался, и даже протягиваю руку; но он раздражается несусветной бранью и, махнув на меня рукой, садится несколькими вагонами дальше! Поезд идет полным ходом, я все еще втихомолку посмеиваюсь, как вдруг откуда ни возьмись струя воды окатывает меня с головы до ног. Это кочегар угостил меня из паровозной кишки. Но я перехожу с площадки на тендер и здесь, под навесом, чувствую себя в безопасности. Струя, не задевая меня, описывает дугу над моей головой. Меня так и подмывает влезть наверх и запалить в кочегара увесистым куском угля. Но я знаю: стоит мне поддаться соблазну, и кочегар с кондуктором не успокоятся, пока не укукошат меня, — и я отказываю себе в этом удовольствии.

На следующей остановке опять соскакиваю и бегу в темноту. На этот раз, когда поезд трогается, оба кондуктора торчат на первой площадке. Мне ясна их игра. Они хотят заблокировать мой предыдущий ход. Мне больше не удастся сесть на вторую площадку, пересечь ее, соскочить и броситься на первую. Увидев, что я пропустил мимо первую площадку, оба кондуктора соскакивают в противоположные стороны. Я прыгаю на вторую и при этом знаю, что уже в следующую минуту мои преследователи застукают меня с двух сторон. Это ловушка. Оба выхода отрезаны. И все же остается еще один выход — наверх.

Итак, я не жду появления своих преследователей. Цепляясь за какие-то части, карабкаюсь вверх по отвесной стене и становлюсь на баранку ручного тормоза. Но вот спасительная передышка кончилась. Сапоги моих преследователей с двух сторон с цоканьем ударяются о подножку. Я не достаиваю их взгляда. Поднимаю руки и упираюсь в закругленные края вагонов: одна рука на одной крыше, другая — на другой. Кондукторы уже поднялись на площадку. Я знаю это, хоть и не смотрю на них: у меня нет времени на них смотреть. Ведь все это — дело нескольких секунд. Я подпрыгиваю и подтягиваюсь на руках. Не успел я поджать ноги, как кондукторы бросаются к ним, но хватают руками пустоту. Я знаю это, потому что смотрю теперь вниз и все вижу. Я слышу, как они разносят меня на все корки.

Положение не из веселых: я держусь за края закругленных крыш двух смежных вагонов. Быстрым решительным рывком перевожу ноги на закругление одной крыши, а руки — на закругление другой. Потом, уцепившись покрепче за края, передвигаюсь с покатости на плоскость крыши и присаживаюсь, чтобы отдышаться, держась за выступающий вверх вентилятор. Итак, я «на падубе», как говорят бродяги, а в целом это называется — «лезть на палубу». К вашему сведению, только молодой и сильный бродяга мажет залезть на палубу пассажирского поезда, да и то при железном выдержке.

Поезд идет, ускоряя ход, и я чувствую себя в безопасности — до ближайшей остановки. Если я вовремя не уберусь с крыши, кондукторы на станции забросают меня камнями. Здоровенный кондуктор может зашвырнуть на крышу камешек весом от пяти до двадцати фунтов. С другой стороны, не исключено, что мои преследователи поджидают меня на площадке, с которой я поднялся вверх; они, возможно, думают, что я здесь и слезу. Значит, спуститься надо где-нибудь подальше.

Всей душой уповая, что на расстоянии ближайшей полумили нам не встретится ни один тоннель, я вскакиваю и пробегаю по крышам примерно десяти вагонов. Тот, кто отважится на такую прогулку, должен забыть, что такое страх. Крыши пассажирских вагонов — это вам не аллея для романтических прогулок при свете луны. А если кто со мной не согласен, пусть попробует. Пусть прогуляется по крыше вихляющего, подсакивающего вагона, когда единственное, за что можно ухватиться, это пустой черный воздух, и пусть не забудет ускорить шаг, когда, приближаясь к покату, скользкому краю, он готовится перепрыгнуть на край соседней крыши, такой же покатым и скользким. Поверьте, это будет для него серьезным испытанием: не дрогнет ли сердце, не закружится ли голова?..

Когда поезд замедляет ход перед станцией, я спускаюсь на площадку шестого вагона, считая от того, где «взобрался на палубу». На площадке ни души. Поезд останавливается, и я соскакиваю наземь. Впереди, между мной и паровозом, два движущихся фонаря. Кондукторы ищут меня на крыше. Я замечаю, что вагон, у которого стою, двухосный, то есть у него четыре колеса. (Когда вы лезете «под поезд», избегайте трехосных вагонов; они крайне опасны.) Я ныряю под поезд и стараюсь освоиться в потемках, благо остановка здесь порядочная. Мне еще не приходилось ездить под поездом на этой линии, и я не знаю устройства ходовых частей. Стараюсь протиснуться в щель между тележкой и кузовом, но здесь так узко, что не пролезть. Это для меня новость. В Соединенных Штатах я на полном ходу забирался под поезд — достаточно было ухватиться за край платформы и, забросив ноги под тормозной брус, пролезть поверху, а потом спуститься в глубь платформы и устроиться на поперечной оси.

Пошарив рукой в темноте, устанавливаю, что под тормозным брусом есть пространство. Это узкая щель. Ложусь плашмя и ползу по-пластунски. Попав внутрь платформы, усаживаюсь на оси и начинаю размышлять, что думают теперь кондукторы. Они, верно, считают, что избавились от меня. Поезд трогается. Значит, кондукторы и думать про меня забыли.

Но так ли это? На ближайшей станции я вижу, что под следующим вагоном кто-то шарит фонарем. Они ищут меня на осях. Надо убираться, и как можно скорее. Опять проползаю на животе под тормозным брусом. Они заметили меня и подбегают, но я на четвереньках пробираюсь по шпалам на другую сторону, а там вскакиваю и — бегом, к началу состава. Миную паровоз и прячусь в спасительной темноте. И снова я на исходной позиции. Я — впереди поезда, и он должен пройти мимо меня.

Поезд отходит от станции. Замечаю фонарь на первой глухой площадке. Я притаился и вижу, как мимо проплывает кондуктор, пристально вглядываясь в темноту. На следующей площадке тоже фонарь. Этот кондуктор заметил меня и окликнул другого, проехавшего на первой площадке. Оба соскакивают. Не беда! Я устремляюсь к третьей площадке, чтобы оттуда переправиться на палубу. Но черт дерит этих иродов, — на третьей площадке тоже фонарь. Это — обер-кондуктор. Пропустим и его! По крайней мере вся их братия теперь позади.

Поворачиваю и бегу на этот раз против движения поезда. Оглядываюсь назад — все три фонаря спустились наземь и, покачиваясь, бегут за мной. Я припускаю вовсю. Половина вагонов проплыла мимо, и поезд идет довольно быстро; тогда я вскакиваю на какую-то подножку, хоть и понимаю, что через одну-две секунды оба кондуктора, во главе со старшим, накинутся на меня, как кровожадные псы. Взбираюсь на баранку руля, упираюсь в закругленные края крыши и на руках подтягиваюсь на палубу, меж тем как мои разочарованные преследователи, сгрудившись внизу, точно собаки, загнавшие кошку на дерево, бранят меня на чем свет стоит, поминая крепким словцом также и всю мою родню.

Но что из этого? Ведь их пятеро против одного, считая машиниста и кочегара, не говоря уже о том, что на их стороне Его Величество закон и могущество влиятельнейшей корпорации. А все же где им со мной тягаться! Но я слишком далеко забрался назад и теперь бегу вперед по крышам вагонов, пока не добегаю примерно до пятой, шестой площадки от паровоза.

Осторожно выглядываю и вижу на площадке кондуктора. Он тоже заметил меня, — я догадываюсь по тому, как быстро он юркнул в вагон и спрятался там. Я знаю, что он стоит за дверью, готовый сцапать меня, как только я спущусь. Но не подаю и виду — пусть воображает, что я в его руках. Я не вижу его, а только слышу, как он чуть-чуть приоткрывает дверь, чтобы удостовериться, здесь ли я еще.

Поезд замедляет ход, приближаясь к станции. Я нарочно свешиваю ноги. Поезд останавливается. Я слегка болтаю ногами. Слышу, как тихонько щелкает дверной замок. Кондуктор притаился и ждет: вот-вот он бросится на меня. Вскакиваю и бегу вперед. Поезд стоит. Ночь безмолвствует, а я стараюсь возможно громче топтать ногами по железной крыше. Трудно сказать наверняка, но мне кажется, что кондуктор бежит за мной, надеясь поймать, когда я буду спускаться с крыши. Но я и не думаю здесь спуститься. Дойдя до половины крыши, я поворачиваю и быстро и бесшумно бегу к той площадке, которую мы вместе с кондуктором только что покинули. Путь свободен. Я соскакиваю на перрон по другую сторону поезда и прячусь в темноте. Ни одна душа меня не видела.

Я перелезаю через изгородь у края насыпи и наблюдаю. Это еще что? Ага! Я вижу, как огонек фонаря передвигается поверху от паровоза к хвосту поезда. Они думают, что я на палубе, и ищут меня по всем крышам. Мало того, по обе стороны поезда движутся еще два фонаря в ряд с тем, что на крыше. Это напоминает травлю кролика, и я сейчас в роли этого животного. Когда тот, наверху, спугнет кролика, эти, внизу, схватят его. Свертываю папироску и провожаю шествие глазами. Как только оно проследовало мимо, я преспокойно направляюсь в сторону паровоза. Поезд трогается, и я беспрепятственно сажусь на первую глухую площадку. Но поезд еще не пошел полным ходом и только я закуриваю папиросу, как вижу кочегара: он перелез через гору угля в тендере и устался на меня. Дело дрянное: со своего места ему нетрудно забросить меня углем и превратить в лепешку. Однако вместо этого он заговаривает со мной, и я улавливаю в его голосе нотку восхищения.

— Ах ты сволочь, сволочь! — произносит он.

Это — лестное обращение, и я трепещу от восторга, как школьник, удостоившийся первой награды.

— Приятель, — говорю я ему, — брось ты эти шутки с кишкой.

— Идет, — говорит он и возвращается к своей работе.

Итак, с кочегаром мы поладили, но кондукторы так и шныряют — ищут меня. На следующей станции все трое опять размещаются по первым трем площадкам, а я снова взбираюсь на палубу где-то посередине состава. Но мои гонители закусили удила. Поезд, пройдя немного, останавливается среди поля. Кондукторы ни с чем не считаются, только бы меня зацапать. Три раза на этом перегоне огромный поезд задерживается ради какого-то бродяги, и каждый раз я обманываю кондукторов и спасаюсь на палубе. Но положение ухудшается. Кое-чему они все-таки научились. Я доказал, что им не уберечь поезд от меня. Придется им придумать что-нибудь новенькое.

Так они и делают. Когда поезд останавливается в третий раз, они пускаются за мной следом. Ага, догадываюсь, они решили меня затравить! Сначала меня гонят к хвосту состава, но я понимаю, в чем опасность. Стоит мне оказаться позади, как поезд уйдет и оставит меня одного, в поле. Я бросаюсь туда-сюда, сгибаюсь в три погибели и, внезапно повернув, ныряю между ними и стрелой несусь назад. Один кондуктор все же увязывается за мной. погоди, голубчик, я загоняю тебя до смерти, будешь знать; небось легкие-то у меня получше, чем у тебя. Я бегу и бегу себе по насыпи. Мне-то что! Пусть гонится за мной хоть десять миль, — когда-нибудь ему придется сесть на поезд, а там, где он вскочит, вскочу и я.

Так я и бегу, сохраняя дистанцию, и зорко посматриваю в темноте, чтобы не наткнуться на шлагбаум и не споткнуться о стрелку. Но, к сожалению, смотрю вперед, а спотыкаюсь о что-то под ногами, — сам не знаю обо что, какое-то незаметное препятствие, — и растягиваюсь во весь рост. В следующую минуту я уже на ногах, но и кондуктор тут как тут, хватая меня за шиворот. Я не сопротивляюсь. Стараюсь отдышаться и понять, что представляет собой мой противник. Он узкоплечий, я вешу на добрых тридцать фунтов больше. К тому же он выдохся не меньше моего, и если он вздумает вклепить мне затрещину, я в долгу не останусь.

Однако у него, видно, другое на уме, и, значит, не будем торопиться. Он ведет меня обратно к поезду, и передо мной возникает новая угроза. Я вижу в отдалении фонари его приятелей-кондукторов. Мы приближаемся к ним. Но не зря я побывал в науке у нью-йоркских полисменов. Не зря, сидя где-нибудь в товарном вагоне, в тюремной камере или на путях под водокачкой, слушал страшные рассказы о бесчеловечных расправах с бездомными бродягами. А что, если эта тройка собирается так же поступить со мной? Видит бог, я дал им достаточно оснований. Мысль моя лихорадочно работает. Мы все ближе и ближе подходим к обоим железнодорожникам. Я примериваюсь к правой скуле и животу моего конвойного и готовлюсь двинуть его правой и левой при первом признаке тревоги.

Вздор! Лучше испытаю другой прием. Эх, что бы мне сразу догадаться! Покажу ему, как хватать меня за шиворот! Его пальцы клещами вцепились мне в ворот. Моя куртка застегнута на все пуговицы. Видели ли вы, как закручивают жгуты? Вот это-то я и имею с виду.

Единственное, что требуется, это нырнуть под вытянутую руку моего стража и несколько раз повернуться волчком. Вертеться надо быстро, возможно быстрее. Я знаю в точности, как это делается. Вы вертитесь с силою, рывками, ныряя противнику под руку при каждом повороте. Не успеет он опомниться, как его пальцы, зажавшие ваш ворот тисками, сами окажутся в тисках. Он не сможет высвободить их, даже если захочет, — вот какое это мощное оружие!

Через двадцать секунд после того, как вы начнете свои пируэты, кровь брызнет у него из-под ногтей, порвутся нежные связки, помятые, раздавленные нервы превратятся в вопящее крошево. Испытайте мой прием, когда кто-нибудь схватит вас за шиворот. Но проделайте это молниеносно. И не забудьте защитить лицо — прикройте его согнутой левой, а живот правой. Вашему противнику может прийти в голову двинуть вас как следует свободной рукой. Вертеться надо не в сторону угрожающей вам свободной руки, а от нее. Удар настигающий всегда предпочтительнее встречного удара.

Мой конвойный никогда не узнает, какая опасность ему угрожала. Его спасло то, что избить меня, оказывается, не входило в его планы. Когда мы приблизились, он крикнул своим, что поймал меня и что поезд может трогаться. Мы видим, как проплывает паровоз и три первых глухих площадки. Обер-кондуктор и его помощник не спеша садятся. Мой тюремщик все еще держит меня за шиворот. Мне ясен его план. Он будет держать меня, пока не подойдет последний вагон. А тогда он вскочит на подножку, а я останусь за бортом.

Но поезд тронул слишком энергично, машинисту, видно, не терпится наверстать потерянное время. К тому же это какой-то бесконечный состав, вагоны проворно мелькают, и я чувствую, что кондуктор не без опасения глядит на эту прыть.

— Думаешь поспеть? — спрашиваю я невинно.

Он отпускает мой ворот и с разбегу повисает на поручне. Его вагон — далеко не последний, и он это знает. Поэтому он не сходит с подножки, а, вытянув шею, наблюдает за мной. Мой план созрел: я вскочу на последнюю площадку. Правда, поезд все набирает скорость. Ну что ж, в крайнем случае сорвусь и вывалюсь в пыли. Я не вешаю носа. Меня поддерживает мой юношеский оптимизм. Стою, понуриив голову, и всем видом показываю, что уже ни на что не надеюсь. И в то же время пробую ногой, хорошо ли слежался гравий. Да, гравий утоптан как следует. И наблюдаю за обращенной ко мне головой кондуктора. Но вот она спряталась.

Кондуктор уверился, что поезд идет слишком быстро и что мне на него не вскочить.

Поезд и в самом деле идет быстро — сесть довольно мудрено, это будет первый такой случай в моей практике. Когда подходит последний вагон, я изо всех сил пускаюсь бежать в том же

направлении. Короткая, но сильная пробежка. Я не надеюсь сравняться с ним скоростью, но надеюсь разницу наших скоростей довести до минимума и тем самым ослабить силу толчка, когда ноги мои коснутся подножки. В этот стремительный миг я не успеваю различить в темноте железный поручень вагона, хватаюсь за него наобум, и в ту же секунду ноги мои отрываются от земли. Все происходит словно в каком-то головокружительном вихре. Уже в следующее мгновение я могу оказаться на земле со сломанными руками ребрами или головой. Но пальцы мои крепко хватаются за поручень, руки выдерживают рывок, от которого весь корпус отбрасывает в сторону, а ноги с грохотом ударяются о ступеньку.

Сажусь с горделивым чувством в душе. Это самый мастерский прыжок за всю мою бродяжническую жизнь! Я знаю, что поздней ночью можно без особого риска проехать несколько станций на последней платформе, но мне кажется небезопасным оставаться в хвосте поезда. Поэтому я на первой же остановке бегу вперед по второму перрону, пропустив спальные вагоны, лезу под обыкновенный пассажирский и устраиваюсь внизу на оси. На следующей станции опять пропускаю несколько вагонов и опять устраиваюсь на оси. Теперь я в относительной безопасности. Кондукторы считают, что ссадили меня.

Утомительный день и переживания этой ночи начинают сказываться. К тому же внизу тепло и не дует. Я начинаю клевать носом. Плохо дело! Уснуть, сидя на оси, — значит неминуемо оказаться под колесами. Делать нечего, вылезая на станции и направляюсь ко второй глухой площадке. Здесь я могу привалиться к стене и заснуть.

Как долго я спал, затрудняюсь сказать, — меня разбудил фонарь, поднесенный к самому моему носу. Оба кондуктора удивленно таращат на меня глаза. Я вскакиваю и сжимаю кулаки, не зная, с какой стороны ждать удара. Но они, видимо, не помышляют о мордобое.

— Я думал, ты там и застрянешь, — говорит мой давешний конвойный.

— Если б ты не отпустил меня, мы застряли бы там вместе, — отвечаю я.

— Это как же так? — спрашивает он.

— А так, говорю — что я бы повис на тебе, и никуда б ты от меня не делся.

С минуту они совещаются и выносят приговор:

— Что ж, так и быть, поезжай, приятель. С тобой, как видно, не сладишь.

И, уйдя, оставляют меня в покое до большой узловой станции, где должна заступить новая бригада.

Я привел это как пример того, что значит держаться, невзирая ни на что. Разумеется, я выбрал особенно благоприятную ночь и умолчал о других, весьма многочисленных ночах, когда меня подводила какая-нибудь случайность и кондукторам удавалось меня ссадить.

Расскажу в заключение, что случилось со мной на узловой станции. На однокорейных трансконтинентальных линиях товарные поезда ждут на узловых станциях отхода пассажирских. Добравшись до первого узлового пункта, я покинул свой поезд и отправился на поиски идущего следом товарного. Я нашел его готовым к отправлению на запасном пути, забрался в крытый вагон, наполовину груженный углем, и устроился в углу. Нечего и говорить, что я мгновенно уснул.

Проснулся я оттого, что дверь с шумом отлетела. Занимался холодный, пасмурный день, а поезд все еще стоял на месте.

В проеме двери показалась голова кондуктора.

— Проваливай отсюда, такой-растакой! — заорал он.

Я послушно вылез и, стоя на путях, наблюдал, как он обходит вагон за вагоном. Когда кондуктор исчез из виду, я рассудил, что он не станет больше искать меня там, откуда благополучно выкурил, — такой наглости он от меня, разумеется, не ждет. Итак, я вернулся в вагон и расположился на полу.

Однако мысли кондуктора, видимо, работали в том же направлении. Он, видимо, не сомневался, что я именно так и поступлю, и вскоре вернулся, чтобы опять меня выгнать.

Но уж теперь-то, сказал я себе, ему и в голову не придет, что я в третий раз отважусь на то же самое. И я снова залез в вагон, на этот раз приняв меры предосторожности. Из двух боковых

дверей вагона только одна открывалась наружу. Другая была забита гвоздями. Взобравшись на гору угля, я вырыл себе нору у заколоченной двери и лег. Слышу, отворяется противоположная дверь. Кондуктор залез наверх и внимательно огляделся. Увидеть он меня не увидел, но потребовал, чтобы я вылез из норы. Я, конечно, притаился и молчу. Но когда он стал забрасывать меня кусками угля, пришлось сдаться. Я вылез из своего убежища и был выставлен в третий раз. В самых энергичных выражениях кондуктор предупредил меня, что со мной будет, попадись я ему в четвертый раз.

Тогда я изменил тактику. Если у человека мысли движутся в одинаковом с тобой направлении, ссади его или сам сверни на другой путь. Так я и сделал. Спрятался между соседними вагонами и жду. И, конечно, кондуктор опять наведалься в полюбившийся мне вагон. Он открыл дверь, забрался наверх, окликнул меня и снова закидал углем вырытое мною убежище. Он даже подполз к нему на четвереньках, но, убедившись, что меня там нет, успокоился. Пять минут спустя паровоз дал свисток. Кондуктор больше не показывался. Я побежал за вагоном, отодвинул дверь и залег. Кондуктор, должно быть, и думать обо мне забыл. Я проехал в этом вагоне ровно тысячу двадцать две мили и почти все время спал, выходя только на больших станциях (где товарные составы стоят по часу и по два), чтобы выпросить что-нибудь на пропитание. И лишь на тысяча двадцать третьей миле потерял свой вагон — на этот раз по счастливой случайности. Я был приглашен «к столу», а уж такой возможности ни один бродяга не упустит, куда бы и как срочно он ни направлялся.

Картинки

Не важно, где и как мы умрем, — Было бы здоровье, чтобы все увидеть

«Бродяга из бродяг», секстина

Быть может, величайшая прелесть бродяжнической жизни в том, что она не знает однообразия. В Царстве Бродяг жизнь постоянно меняет свою личину; это причудливая фантазмагория, где невозможное становится возможным и за каждым поворотом дороги прячется неожиданное — вот-вот оно выглянет из-за куста. Бродяге неведомо, что ждет его в ближайшую минуту, и живет он только настоящим. Он познал тщету земных усилий, и величайшая для него радость — бездумно плыть по течению, отдаваясь на волю капризного случая.

Часто вспоминаются мне дни, когда я вел жизнь бесприютного бродяги, и я не перестаю удивляться быстрой смене возникающих в памяти картин. Неважно, на чем остановить свой выбор: ни один день не похож на другой, каждый — сам по себе, у каждого свой калейдоскоп впечатлений. Помню, например, ясный летний день в Харрисбурге, штат Пенсильвания, а особенно его многообещающее начало. Я «напросился в гости» к двум почтенным старым девам, и они угощали меня — не на кухне, а в столовой, посадив с собой за стол. Мы ели яйца из рюмок для яиц. До этого я не видел яичных рюмок и даже не подозревал об их существовании. Признаюсь, я был в затруднении, но голод не тетка, и дело быстро пошло на лад, — я стал так ловко управляться и с рюмкой и с яйцами, что мои девы только глазами хлопали.

Еще бы! Сами они клевали, как канарейки, без конца возились каждая со своим единственным яйцом и отщипывали крохотные кусочки от ломтиков поджаренного хлеба, более похожих на облатки. Жизнь еле билась в их сердцах; в их жилах текла не кровь, а розовая водица, а ночью они спали в теплых постелях. Я же всю ночь тащился пешком из города Эмпориума в северной

части штата, и уйма жизненной энергии ушла у меня только на то, чтобы окончательно не продрогнуть. Какие-то облатки вместо хлеба! Что это для меня! Такого сухарика хватало мне на глоток, а сколько глотков нужно сделать человеку, чтобы насытиться!

Мальчишкой я получил в подарок крохотную собачонку, которая отзывалась на кличку «Панч». Я сам заботился о ее пропитании. Кто-то у нас дома настрелял прорву дичи, и мы вволю поели мяса. После обеда я набрал целую тарелку костей и лакомых объедков для Панча. Вышел я с тарелкой во двор, а тут, на беду, прискакал к нам сосед с ближайшего ранчо, и с ним прибежала собака — большущий ньюфаундленд с теленка. Я поставил тарелку на землю, и Панч, умильно виляя хвостом, принялся за еду. Он рассчитывал по меньшей мере на полчаса неизъяснимого блаженства, как вдруг сзади поднялся какой-то вихрь. Панч отлетел, как пушинка, сдунутая ураганом, и огромный ньюфаундленд устремился к тарелке. Несмотря на свои внушительные размеры, он, должно быть, привык закусывать на скорую руку, ибо в то короткое мгновение, какое мне понадобилось, чтоб дать ему пинка в бок, он сожрал все приготовленное для Панча. На прощание он еще раз любовно прошелся по тарелке языком, после чего на ней не осталось даже жирного пятнышка.

Подобно тому, как огромный пес распорядился с тарелкой Панча, так я расправился со всем, что было на столе у добрых харрисбургских дев. Я не оставил на нем ни единой крошки. Я ничего не разбил, но зато уничтожил все яйца, весь поджаренный хлеб и кофе. Служанка то и дело убегала за новой порцией, но я не унимался и требовал все новых и новых подкреплений. Кофе был отличный, но придет же в голову разливать его по таким крошечным чашкам! Пока я наливал себе еще и еще, у меня положительно не оставалось времени на еду.

Тем исправнее работал мой язык. Обеим старым дамам с их бело-розовой комплекцией и седыми бровями никогда еще не приходилось так близко заглядывать в сияющее лицо приключения. Всю свою жизнь, как говорится в «Бродяге из бродяг», они «просидели на одном стуле». В душную атмосферу и узкие рамки их тоскливого существования я внес свежее дыхание ветра, насыщенное терпким запахом борьбы и пота, ароматами цветов и пряностей чуждых стран и полей. Я безжалостно мял их нежные пальчики в своих шершавых ладонях с мозолями в полвершка толщиной, какие натираются, когда вы подолгу тащите из воды канат, выбирая его обеими руками, или когда часами ласкаете и нежите ручку лопаты. И то была не юношеская похвальба, — я хотел доказать им, что право на их подаяние куплено мной ценою тяжелого труда.

Как сейчас вижу перед собой этих милых старушек, с которыми я завтракал двенадцать лет назад. Я рассказываю им, как носило меня по свету, отмахиваюсь от их ласковых советов с беспечностью заправского сорвиголовы и повергаю их в дрожь повестью о своих приключениях вперемешку с приключениями других бродяг, с которыми я делил кочевую жизнь и обменивался рассказами о пережитом. Теперь я их себе все присвоил. Я имею в виду приключения других бродяг. Если бы почтенные старушки не были так наивны и легковыжны, они бы мгновенно обнаружили путаницу в моей хронологии. Неважно! Это был честный обмен. Я уплатил им сполна за их бесчисленные чашки кофе и яйца и невесомые ломтики хлеба. Я предложил им поистине королевское угощение. Мои рассказы за чайным столом были величайшим приключением их жизни, — а чего не отдашь за настоящее приключение! Я расстался с милыми старушками, вышел на улицу и, прихватив газету, торчавшую в дверях какого-то любителя поспать, завернул на сквер, прилег на зеленую травку и погрузился в события, происшедшие в мире за последние сутки. Здесь же, в парке, я столкнулся с другим бродягой. Он начал с того, что рассказал мне историю своей жизни, а кончил тем, что стал подбивать завербоваться вместе с ним в армию Соединенных Штатов. Сам он сдался на уговоры офицера-вербовщика; не сегодня-завтра ему идти в солдаты, и он не видел причины, почему бы мне не составить ему компанию. Несколько лет назад он с армией Кокси² ходил в

² Кокси, Джекоб Селер (1854 — 1951) — американский политический деятель. В 1894 году стал во главе так называемой «армии Кокси» — армии безработных, отправившейся в Вашингтон требовать от правительства

Вашингтон и пристрастился в походе к лагерной жизни. Я и сам ветеран этой кампании, ибо разве не был я рядовым роты «Л», второй дивизии рабочей армии Келли? Правда, наша рота была более известна как «Невадская босая команда». Но мой армейский опыт оказал на меня обратное действие. И я предоставил своему коллеге присоединиться к кровавым псам войны, а сам побрел промышлять себе обед.

Покончив с этим делом, я направился по мосту на противоположный берег Сасквеханны. Не припомню названия железной дороги, проходившей на той стороне, — помню только, что, валяясь этим утром на траве, я надумал ехать в Балтимору. Итак, в Балтимору лежал мой путь по железной дороге, название которой так прочно ускользнуло из моей памяти. День стоял жаркий, и, пройдя немного, я увидел группу молодых парней, нырявших с мостовых ферм. Мгновение — и моя одежда полетела на перила, а я — в воду. Выкупался я на славу, но когда вылез из воды и начал одеваться, оказалось, что меня обокрали. Кто-то побывал в моих карманах. А теперь посудите сами: разве быть ограбленным — это не приключение, которого человеку вполне хватит на день? Я знал людей, которых обокрали и которые ни о чем другом не говорили до конца жизни. Правда, вор, забравшийся в мой карман, унес не бог весть какую добычу: двадцать — тридцать центов мелочью, пачку табаку да несколько листков папиросной бумаги. Но ведь это было все мое достояние, а не всякий ограбленный скажет это о себе; другого ограбят, зато у него есть кое-что дома, а у меня и дома-то не было. Видать, решил я, эти купальщики

— озорной народ. Присмотревшись к ним поближе, я понял, что нарвался, и почел за лучшее промолчать. Скромненько попросил на закурку, и бумага, из которой я свернул козью ножку, показалась мне до странности знакомой.

Итак, я перешел на тот берег. А вот и железная дорога. Но станции что-то не видно. Возникал вопрос: как сесть на товарный, не давая себе труда тащиться на станцию? Я заметил, что железнодорожное полотно идет здесь в гору и что я нахожусь на его высшей точке — значит, тяжелый товарный состав особой скорости тут не разовьет. Да, но какую все же скорость? По ту сторону полотна возвышалась крутая насыпь. На краю ее из густой травы выглядывала чья-то голова. Может, этот малый знает, как быстро идут здесь поезда, а также когда ждать товарного в южном направлении? Напрягая голос, чтоб быть услышанным, я обратился с этими вопросами к незнакомцу, но он вместо ответа поманил меня к себе.

Я повиновался и, взобравшись на откос, увидел, что рядом с ним на траве расположились пятеро мужчин. Оглядевшись, я понял, что попал в табор американских цыган. На открытой поляне, окруженной деревьями и начинавшейся у самой насыпи, стояло несколько фургонов необычного вида. Стайка оборванных, полуголых ребятишек носилась по поляне, но, как я заметил, все они с опаской обходили лежавших мужчин, стараясь их не беспокоить. Несколько худых, поблекших, изнуренных работой женщин были заняты кто чем, а одна, забравшись в фургон, сидела, понуро свесив голову, обхватив колени безжизненными руками. Видно было, что несладко ей живется. Казалось, все кругом ей безразлично, — впрочем, вскоре выяснилось, что я неправ: были вещи, которые она принимала близко к сердцу. Лицо ее, напоминавшее трагическую маску, говорило, что она испила полную чашу страданий и новые страдания ей уже не под силу. «Ничто не способно возмутить эту отчаявшуюся душу», — подумал я, но и тут оказался неправ.

Я лежал на траве, на краю насыпи, и разговаривал с мужчинами. Мы были членами одной семьи, братьями: я американский бродяга, и они американские цыгане. Я достаточно знал их наречие, чтобы понимать их, а они не хуже — тот жаргон, на котором изъяснялся я. Двое из табора, по их словам, ушли в Харрисбург «на промысел». Официально их занятием считалась починка зонтов, но чем они промышляли на самом деле, никто не счел нужным мне объяснить, а я считал неудобным спрашивать.

помощи.

День был великолепный — ни малейшего ветерка. Мы нежились под лучами солнца, прислушиваясь к дремотному жужжанию насекомых. Воздух был напоен свежестью земли и ароматом полевых трав и цветов. Разомлев, мы молча лежали на припеке и только изредка обменивались отрывистыми замечаниями. И вдруг эта благодатная тишина была кощунственно нарушена человеком.

Два босоногих мальчугана лет восьми-девяти в чем-то провинились, погрешив — надо полагать, не особенно серьезно — против законов табора. В чем заключалась их вина, я так и не узнал. Цыган, лежавший рядом со мной, вдруг приподнялся и грозно окликнул их. Это был «вожак», человек с низким лбом и глазками-щелками. Достаточно было взглянуть на его тонкогубый рот и перекошенное надменной гримасой лицо, чтобы понять, почему мальчуганы, едва слышав его голос, вздрогнули и застыли на месте, как почувшавшие опасность олени. На их настороженных лицах был написан слепой страх, и первым их движением было бежать без оглядки. Но властный голос звал слушников назад, и я заметил, что один из мальчиков замедляет шаг. Все его маленькое тельце в выразительной пантомиме выдавало борьбу, которую вели в нем страх и рассудок. Он хотел вернуться. Разум и горький опыт говорили ему, что вернуться — меньшее зло, чем бежать. Но хоть и меньшее — оно было достаточно велико, чтобы страх безотчетно толкал его в спину, а ноги сами бежали вперед.

Не в силах ни на что решиться, он все подвигался вперед, пока не остановился в тени деревьев. Цыган не преследовал беглеца. Он пошел к фургону, взял тяжелый кнут, затем вернулся и стал посреди поляны. Он больше не произнес ни слова, не сделал ни одного движения. Он был воплощением Закона, безжалостного, всемогущего Закона. Он застыл на месте и ждал. И я знал, и все мы знали, и двое мальчиков, стоявших под деревьями, знали, чего он ждет.

Мальчуган, тащившийся сзади, повернул обратно. Лицо его говорило о трепетной решимости. Он не колебался больше: он решил понести заслуженную кару. И, заметьте, наказание ожидало его уже не за первоначальную провинность, а за то, что он посмел убежать. Вожак лишь следовал примеру высококультурного общества, в котором мы живем, — мы так же караем своих преступников, а когда им удастся бежать, преследуем и караем их вдвойне.

Мальчик без колебаний подошел к вожаку и остановился на таком расстоянии, чтобы кнут мог развернуться. Кнут просвистел, и я вздрогнул от неожиданности — так велика была сила обрушившегося удара. Тоненькие, худенькие ножки мальчика были до ужаса тоненькие и худенькие. Там, где сыромятный ремень впивался в тело, оно вздувалось белой полосой, которая тут же сменялась страшным багровым рубцом с маленькими сочащимися алыми трещинками в тех местах, где лопнула кожа. И снова кнут взвился в воздух, и тельце мальчика судорожно скорчилось в ожидании удара — но он не сдвинулся с места. Он держался крепко. Вздулся второй рубец, потом третий. И только когда кнут просвистел в четвертый раз, мальчик вскрикнул. Больше у него не было сил стоять и молчаливо сносить удары; они сыпались один за другим, а он приплясывал на месте, отчаянно вопя, но не делал все же попытки бежать. И если этот произвольный танец уводил его за невидимую черту, где его уже нельзя было достать кнутом, он, все так же приплясывая, возвращался обратно. Получив свои двенадцать ударов, он, плача и повизгивая, скрылся между фургонов.

Вожак стоял неподвижно и ждал. Тогда из-за деревьев вышел второй мальчик. Но у этого не хватило мужества пойти на казнь с поднятой головой. Он приближался чуть ли не ползком, как трусливая собачонка, охваченная смертельным страхом, который заставляет ее то и дело поворачивать и сломя голову бросаться обратно. И каждый раз он возвращался, описывая вокруг своего палача все меньшие и меньшие круги, скуля и повизгивая, как звереныш. Я заметил, что он ни разу не взглянул на цыгана. Глаза его были неотступно прикованы к кнуту, и в них стоял такой ужас, что все во мне переворачивалось от сострадания, — безысходный ужас ребенка, не понимающего, за что его мучают. Я видел, как справа и слева от меня падают в бою крепкие мужчины, корчась в предсмертных судорогах; видел, как раворовавшийся снаряд превращает десятки человеческих тел в кровавое месиво, но, поверьте, видеть это было забавой,

совершеннейшим пустяком по сравнению с тем, что я испытывал, глядя на несчастного ребенка.

Началась порка. Избиение, которому подвергся первый мальчик, бледнело перед карой, постигшей его товарища. Не прошло и минуты, как его худенькие ножки залила кровь. Он приплясывал, извивался и сгибался пополам, — казалось, это не мальчик, а зловещий картонный паяц, которого дергают за нитку. Я говорю «казалось», но его отчаянные вопли не оставляли сомнений в реальности этой казни. Это был звенящий, пронзительный визг, без единой хриплой ноты, — невинная, надрывающая душу жалоба ребенка. Наконец силы изменили ему, разум померк, и он кинулся бежать. Но на этот раз человек бросился за мальчиком, шелканьем кнута отрезая ему дорогу, загоняя его на открытое место.

И тут произошло замешательство. Я услышал дикий, сдавленный вопль: женщина, сидевшая на козлах фургона, бежала к мальчику, чтобы помешать расправе. Она бросилась между мужчиной и ребенком.

— Что, и тебе захотелось? — проворчал цыган. — Получай, коли так!

Он замахнулся. Длинная юбка закрывала ей ноги, и он целился выше, ладил хлестнуть ее по лицу, — а она защищалась, как могла, закрываясь руками и локтями, втянув голову, подставляя под удары худые руки и плечи. Героическая мать! Она знала, что делает. Мальчик, повизгивая, побежал к фургонам, чтобы там укрыться.

И все это время четверо мужчин, лежавших со мной рядом, смотрели на это истязание и не двигались с места. Не шелохнулся и я, — говорю это без ложного стыда, хотя моему рассудку пришлось выдержать нелегкую борьбу с естественным побуждением — вскочить и вмешаться. Но я достаточно знал жизнь. Не много пользы принесло бы этой женщине или мне, если бы пятеро цыган на берегу Сасквеханны избили меня насмерть! Я однажды видел, как вешали человека, и хотя все во мне кричало от негодования, не проронил ни звука. При первой же попытке протеста мне раскроили бы череп рукояткой револьвера, ибо повесить этого человека повелевал Закон. А здесь, в цыганском таборе, Закон требовал, чтобы непокорная жена была наказана плетью.

По правде сказать, в обоих случаях причиной того, что я не вмешался, было не столько уважение к Закону, сколько то, что Закон был сильнее меня. Не будь здесь четырех цыган, с какой радостью бросился бы я на человека, вооруженного кнутом. И уж, конечно, сделал бы из него котлету, — разве только кто из женщин поспешил бы к нему на выручку с ножом или дубиной. Но рядом со мной на траве лежало четверо цыган, а это означало, что перевес на стороне Закона.

Поверьте, я жестоко страдал. Мне и раньше случалось видеть, как избивают женщин, но такого избиения я еще не видел. Платье у нее на плечах было изодрано в клочья. Один удар, от которого она не смогла увернуться, пришелся по лицу и рассек ей всю щеку до самого подбородка. Не один, не два, не десять и не двадцать — удары сыпались без счета, без конца, кнут снова и снова обвивался вокруг тела несчастной, сыромятный ремень обжигал, явил. Пот лил с меня градом, я тяжело дышал и судорожно цеплялся за траву, выдирая ее с корнем. И все время рассудок твердил мне: «Дурак ты, дурак!» Удар, рассекший ей щеку, чуть не погубил меня. Я рванулся было с места, но рука соседа тяжело легла мне на плечо.

— Полегче, приятель, полегче, — пробормотал цыган.

Я посмотрел на него, и он тоже уставился на меня. Это был атлет, огромный детина, широкоплечий, с налитыми мускулами, лицо вялое, невыразительное — не злое, но без искорки чувства, без проблеска мысли. Темная душа, не ведающая добра и зла, душа тупого животного. Да это и было животное, почти без проблесков сознания, добродушное животное, с мозгом и мускулами гориллы. Рука его тяжело давила мне на плечо, и я чувствовал всю силу его мышц. Я взглянул на остальных скотов: двое из них были безучастны и не проявляли ни малейшего любопытства, между тем как третий пожирал глазами это зрелище. И тогда здравый смысл вернулся ко мне, мускулы мои обмякли, я снова повалился на траву.

Добрые девы, накормившие меня утром, невольно пришли мне на ум. Всего каких-нибудь две мили по прямой отделяли их от этой сцены. Здесь, в этот тихий безветренный день, под благодатным солнцем такую же слабую женщину, их сестру, истязал брат мой. Вот страница жизни, которой им не увидеть. Что ж, тем лучше, хотя, оставаясь слепыми, они никогда не поймут ни сестер своих, ни себя, ни того, из какой глины они вылеплены. Ибо женщине, живущей в тесных, надушенных комнатах-коробочках, не дано быть маленькой сестрой большого мира.

Но вот казнь кончилась, смолкли крики, и цыганка поплелась назад, на свое место в фургоне. Никто из подруг не решался к ней подойти — сразу по крайней мере. Их удерживал страх. И лишь выждав, сколько требовало приличия, они окружили ее. Вожак убрал кнут на место и, возвратившись к нам, снова растянулся на земле, по правую руку от меня. Он притомился после своей работы и тяжело дышал. Утирая рукавом пот, заливавший ему глаза, он вызывающе уставился на меня. Я равнодушно встретил его взгляд: то, что он сделал, ни в малейшей степени меня не касалось. Я не сразу ушел, а пролежал еще с полчаса, что при данных обстоятельствах предписывал такт и этикет. Я свернул себе две-три папиросы из их табака. И когда я спустился с насыпи на полотно, у меня уже были все сведения насчет того, как лучше сесть на ближайший товарный, идущий на юг.

Подумаешь, невидаль! Самая обыкновенная страничка жизни — не больше! Бывает куда страшнее. Когда-то я доказывал (в шутку, как полагали слушатели), что главное отличие человека от других тварей в том, что человек — единственное животное, которое дурно обращается со своей самкой. На это не способны ни волк, ни трусливый койот, ни даже собака, природу которой изгадил приручивший ее человек. По крайней мере в этом собака верна первобытному инстинкту, тогда как человек растерял их все — в первую очередь инстинкты благодетельные.

Есть ли что-нибудь страшнее здесь описанного? Прочтите любой очерк о детском труде в Соединенных Штатах на востоке и западе, на севере и юге — везде, и вы убедитесь, что все мы, причастные и подвластные царству чистогана, печатаем и выпускаем в свет куда более страшные страницы жизни, чем эта скромная страничка об избиении женщины на откосе Сасквеханны.

Я спустился футов на сто под уклон и нашел место, где плотно слежался гравий; здесь я мог сесть на товарный, когда он замедлит ход на подъеме. На насыпи человек шесть бродяг караулили поезд. Кое-кто из них, чтобы убить время, резался в карты, которые были необыкновенно истрепаны. Я присоединился к ним. Сдавал молодой веселый негр, толстяк, с круглым, как луна, лицом, излучавшим добродушие. Добродушие так и сочилось из него. Бросив мне первую карту, он вдруг остановился и спросил:

— Эй, дружок, а ведь мы с тобой вроде встречались?

— Встретаться-то встречались, — отвечал я, — только, сдается, на тебе была другая амуниция. Он озадаченно посмотрел на меня.

— Помнишь Буффало? — спросил я.

Тут он вспомнил — и восторженно приветствовал меня как старого товарища, ибо в Буффало он носил полосатую куртку и отбывал свой срок в исправительной тюрьме округа Эри. Что до меня, то я тоже носил тогда полосатую куртку и тоже отбывал свой срок.

Игра продолжалась, и я узнал, на что играют. Внизу под насыпью, где протекала река, футах в двадцати пяти от нас, виднелся источник; к нему бежала крутая узкая тропка. Мы играли в карты, примостившись на краю насыпи. Проигравший должен был сбежать вниз, набрать воды в небольшую жестянку из-под сгущенного молока и напоить желающих.

После первой партии в дураках остался негр. Он взял жестянку и полез вниз, а мы сверху глядели, как он набирает воду, и потешались над ним. Ну и пили же мы, скажу я вам! Как лошади! Четыре раза ходил он в оба конца для меня одного, да и другие пили не стесняясь.

Тропинка была крутая, негр то и дело где-нибудь на полдороге тыкался носом в землю, проливал воду и снова спускался вниз. Однако он ничуть не сердился и хохотал не меньше нас,

а потому, должно быть, и падал. Впрочем, он клялся, что еще возьмет свое: пусть только кто-нибудь проиграет, — он будет пить, как бездонная бочка!

Когда все напились вволю, сыграли второй кон, и опять проиграл негр, и опять мы хлебали воду, сколько влезет. Третий и четвертый кон — то же самое, и каждый раз негр, с круглым, как луна, лицом от души хохотал над тем, как отчаянно ему не везет. И мы тоже надрывали животики. Мы смеялись, как дети, как беспечные боги, примостясь на краю железнодорожной насыпи. Я по крайней мере хохотал до слез и так накачался, что вода подступала мне к горлу. Кто-то сказал, что с таким грузом нам не вскочить на поезд, когда он на подъеме замедлит ход. Мы всесторонне обсудили этот вопрос, и разгоревшиеся прения так насмешили негра, что чуть его не доконали. Он даже перестал носить воду и добрых пять минут катался по земле от смеха. Тени, удлиняясь, все дальше наползали на противоположный берег. Тихие прохладные сумерки спускались на землю, а мы по-прежнему дули воду, и наш черный виночерпий приносил нам еще и еще. Забыта была бедная женщина, судьба которой так занимала меня какой-нибудь час назад. Эта страница была прочтена, открылась другая. Теперь я был увлечен ею, а когда внизу, на подъеме, закричит паровоз, придет к концу и эта страница и начнется новая. Так, пока мы молоды, перелистываем мы книгу жизни — страница за страницей, — и нам кажется, что им конца нет.

Но тут — наконец-то! — повезло негру: проиграл бледный, испитой бродяга, должно быть, страдавший затяжной желудочной болезнью. Он, кстати сказать, смеялся меньше других. Мы в один голос заявили, что больше не хотим наливать, да так оно и было. Никакие богатства Ормуза и Инда не заставили бы меня сделать еще глоток, никаким самым мощным насосом нельзя было бы накачать в мою раздутую утробу еще хотя бы каплю жидкости. Я видел, что негр огорчен, однако он не растерялся и заявил, что выпил бы самую малость. И он постоял за себя. Он выпил малость, потом еще малость, потом еще и еще и все не мог напиться. И сколько бы воды ни приносил ему унылый бродяга, сновавший по откосу вниз и вверх, негр был не прочь выпить еще. В конце концов он выпил больше всех нас, вместе взятых. Ночь сменила сумерки, в небе высыпали звезды, а негр все пил и пил. Если бы не внезапно разорвавший тишину паровозный свисток, он, думается, так без конца и хлестал бы воду, упиваясь мстостью, а унылый бродяга все таскался бы вверх и вниз.

Но паровоз просвистел. Кончилась и эта страница. Мы вскочили и растянулись шеренгой вдоль рельсов. Паровоз подходил, пыхтя и отдуваясь на подъеме, и его огненный глаз превращал ночь в день, отчего наши силуэты казались еще чернее. Но вот он проскочил; мы побежали рядом с вагонами, кто цепляясь за ступеньки, кто раздвигая двери крытых вагонов и вваливаясь внутрь. Я забрался на платформу с лесными материалами, прополз между досок и приткнулся в уютном уголке. Сложив газету, я сунул ее под голову вместо подушки. Звезды надо мной мерцали в вышине и стайками шарахались куда-то в сторону, когда поезд делал дугу на повороте. Так, наблюдая звезды, я и уснул. Еще один день пришел к концу — один из многих моих дней. Завтра будет новый: ведь я молод.

«Сцанали»

Я прибыл на Ниагарский водопад в «пульмановском вагоне с боковым входом», или, говоря общепринятым языком, в товарном. Кстати сказать, открытая товарная платформа именуется у нашей братии «гондолой», причем на втором, протяжно произносимом слоге делается энергичное ударение. Но к делу. Прибыл я под вечер и как вылез из товарного поезда, так прямо пошел к водопаду. Когда моим глазам открылось это чудо — эта масса низвергающейся воды, я пропал. Я уже не мог оторваться от него и упустил время, пока еще можно было «прощупать» кого-нибудь из «оседлых» (местных жителей) на предмет ужина. Даже

«приглашение к столу» не могло бы отвлечь меня от этого зрелища. Наступила ночь — дивная лунная ночь, а я все сидел у водопада и очнулся только в двенадцатом часу, когда надо было уже идти искать, куда бы «шлепнуться».

«Шлепнуться», «приткнуться», «завалиться», «дать храпу» — все это означает одно: поспать. Что-то подсказывало мне, что это «плохой» город — то есть малоподходящий для бродяг, и я взял курс на предместье. Перелез через какую-то ограду и «двинул» в поле. «Уж здесь-то господин Закон не доберется до меня!» — решил я; повалился в траву и заснул, как младенец. Благоуханный воздух и теплынь так разморили меня, что я ни разу не проснулся за всю ночь. Но как только стало светать, я открыл глаза и тут же вспомнил изумительный водопад. Я опять перелез через ограду и пошел взглянуть на него еще разок. Было совсем рано, не больше пяти часов утра, а раньше восьми нечего было и думать раздобыть завтрак. Я мог побыть у реки еще добрых три часа. Но увы! Мне не суждено было больше увидеть ни реки, ни водопада! Город спал. Бредя пустынной улицей, я увидел, что навстречу мне по тротуару идут трое людей. Они шагали все в ряд. «Такие же бродяги, как я; и тоже встали спозаранку», — мелькнула у меня мысль. Но я несколько ошибся в своих предположениях. Я угадал только на шестьдесят шесть и две трети процента. По бокам шли действительно бродяги, но тот, кто шагал посередине, был отнюдь не бродяга. Я отступил на край тротуара, чтобы пропустить эту троицу мимо. Но они не прошли мимо. Идущий посередине что-то сказал, все трое остановились, и он обратился ко мне.

Я мигом почуял опасность. Это был фараон, а двое бродяг — его пленники! Господин Закон проснулся и вышел на охоту за первой дичью. А я был этой дичью. Будь у меня тот опыт, который я приобрел несколько месяцев спустя, я тотчас повернул бы назад и бросился наутек. Фараон мог, конечно, выстрелить мне в спину, но ведь он мог и промахнуться, и тогда я был бы спасен. Он никогда не погнался бы за мной, ибо двое уже пойманных бродяг всегда лучше одного, удирающего во все лопатки. Но я, дурак, стал как вкопанный, когда он окликнул меня! Разговор у нас был короткий.

— В каком отеле остановился? — спросил он.

Тут он меня и «застукал». Ни в каком отеле я не останавливался и даже не мог назвать наугад какую-нибудь гостиницу, так как не знал ни одной из них. Да и слишком уж рано появился я на улице. Все говорило против меня.

— Я только что приехал! — объявил я.

— Ну поворачивайся и ступай впереди, только не вздумай слишком спешить. Здесь кое-кто хочет повидаться с тобой.

Меня «сцапали»! Я сразу понял, кто это хочет со мной повидаться. Так я и зашагал — прямо в городскую тюрьму; двое бродяг и фараон шли за мной по пятам, и последний указывал дорогу. В тюрьме нас обыскали и записали наши фамилии. Не помню уж, под какой фамилией был я записан. Я назвал себя Джеком Дрэйком, но они обыскали меня, нашли письма, адресованные Джеку Лондону. Это создало некоторую трудность, и от меня потребовали разъяснений... Подробности я уже забыл и так и не знаю «сцапали» ли меня как Джека Дрэйка или как Джека Лондона. Во всяком случае, либо то, либо другое имя и по сей день украшает собой списки арестантов упомянутой городской тюрьмы. Наведя справки, можно это выяснить. Дело происходило во второй половине июня 1894 года. Через несколько дней после моего ареста началась крупная железнодорожная забастовка.

Из конторы нас повели в «хобо» и заперли. «Хобо» — та часть тюрьмы, где содержат в огромной железной клетке мелких правонарушителей. Так как хобо, то есть бродяги, составляют главную массу мелких правонарушителей, то эту железную клетку и прозвали «хобо». Здесь уже находилось несколько бродяг, арестованных в это утро, и чуть ли не каждую минуту дверь отворялась и к нам вталкивали еще двух-трех человек. Наконец, когда в клетке набралось шестнадцать хобо, нас повели наверх, в судебную камеру. А теперь я добросовестно опишу вам, что происходило в этом «суде», ибо тут моему патриотизму американского гражданина был нанесен такой удар, от которого он никогда не мог вполне оправиться.

Итак, в судебной камере находились шестнадцать арестантов, судья и два судебных пристава. Судья, как выяснилось, исполнял одновременно и обязанности секретаря. Свидетелей не было. Граждан Ниагара-Фоллс, которые могли бы тут увидеть воочию, как в их городе совершается правосудие, также не было. Судья заглянул в список «дел», лежавший перед ним, и назвал фамилию. Один из бродяг встал. Судья посмотрел на судебного пристава.

— Бродяжничество, ваша честь, — проговорил тот.

— Тридцать дней! — сказал его честь.

Бродяга сел. Судья назвал другую фамилию — встал другой бродяга.

Суд над ним занял ровно пятнадцать секунд. Следующего осудили с такой же быстротой.

Судебный пристав произнес: «Бродяжничество, ваша честь», а его честь изрек: «Тридцать дней». Так оно и шло, как по хронометру: на каждого хобо пятнадцать секунд... и тридцать дней ареста.

«Какая смиренная, бессловесная скотинка! — подумал я. — Вот погодите: дойдет до меня черед, так я задам перцу его чести!» В разгар этой судебной процедуры его честь по какой-то минутной прихоти дал одному из подсудимых возможность заговорить. И это как раз оказался не настоящий хобо. Он ничем не напоминал профессионального отпетого бродягу. Подойди он к нам, когда мы ждали товарного поезда у водокачки, мы бы сразу распознали в нем «котенка». В царстве бродяг «котенками» называют новичков. Этот хобо-новичок был уже немолод — лет сорока пяти с виду. Сутулый, с морщинистым обветренным лицом.

Он, по его словам, много лет работал возчиком у какой-то фирмы — если память мне не изменяет, в Локпорте, в штате Нью-Йорк. Дела фирмы пошатнулись, и в тяжелый 1893 год она закрылась. Его держали до последних дней, хотя под конец работа уже стала нерегулярной. Он рассказал, как в течение нескольких месяцев не мог никуда устроиться, — кругом было полно безработных. Наконец, решив, что скорее можно найти какую-нибудь работенку на Великих Озерах, отправился в Буффало. Дошел, как водится, до полной нищеты — и вот попал сюда. Все было ясно.

— Тридцать дней! — объявил его честь и вызвал следующего.

Тот встал.

— Бродяжничество, ваша честь, — сказал судебный пристав.

— Тридцать дней, — объявил его честь.

Так оно и шло: пятнадцать секунд — и каждый получал тридцать дней. Машина правосудия работала без заминки. Весьма вероятно, что в этот ранний час его честь еще не успел позавтракать и потому спешил.

Кровь во мне закипела. Я услышал голос моих американских предков. Одной из привилегий, за которые они сражались и умирали, было право на суд с присяжными. Это право, освященное их кровью, я получил от них в наследство и считал своим долгом отстаивать его. «Ладно, — грозил я мысленно судье, — пусть только дойдет до меня очередь!»

И вот очередь дошла до меня. Одна из моих фамилий — не помню которая

— была названа, и я встал. Судебный пристав произнес:

— Бродяжничество, ваша честь!

И я заговорил! Но в ту же секунду заговорил и судья. Он изрек:

— Тридцать дней!

Я было запротестовал, но его честь, бросив мне: «Молчать!» — уже называл фамилию следующего по списку. Пристав заставил меня сесть на место. Новый бродяга получил свои тридцать дней, и поднялся следующий, чтобы получить столько же.

Когда с нами расправились, дав каждому по тридцать суток ареста, судья уже хотел отпустить нас, но вдруг обратился к возчику из Локпорта — единственному из подсудимых, которому была дана возможность что-то сказать.

— Зачем ты бросил работу? — спросил судья.

Возчик уже объяснял, что не он бросил работу, а она уплыла от него, и вопрос судьбы его озадачил.

— Ваша честь, — растерянно начал он, — чудно как-то вы спрашиваете...

— Еще тридцать дней за то, что бросил работу! — изрек его честь, и на этом судопроизводство закончилось. В итоге возчик получил по совокупности шестьдесят суток, а все мы — по тридцати.

Нас свели вниз, заперли в клетку и принесли нам завтрак. Для тюремного завтрака он был не так уж плох, — потом мне целый месяц ни разу не довелось так позавтракать.

Я был потрясен: меня лишили не только права предстать перед судом присяжных, но даже права обратиться к суду и заявить о своей невинности и после какой-то пародии на суд вынесли мне приговор. Тут меня осенило: есть еще одно право, за которое дрались мои предки, — право на неприкосновенность личности. Я им покажу! Но когда я потребовал адвоката, меня подняли на смех. Право существовало; но мне от этого было мало проку, раз я не мог снести ни с кем вне тюрьмы. И все-таки я им покажу! Они не могут вечно держать меня в тюрьме.

Ладно, подождите, дайте мне только выйти на свободу. Тут они у меня попляшут! Я немножко знаю законы и свои права и докажу, что здесь нарушают правосудие! Когда тюремщики пришли и погнали нас в главную канцелярию, я уже воображал себе, как предъявлю иск за убытки, и перед глазами у меня мелькали сенсационные газетные заголовки.

Полисмен надел нам наручники, соединив мою правую руку с левой рукой какого-то негра. («Ага, — подумал я, — новое оскорбление! Погодите же, дайте мне только выйти на свободу!..») Негр был очень рослый, наверное выше шести футов, и, когда нас сковали, его рука немного подтягивала мою кверху. Это был самый оборванный и самый веселый негр, каких я когда-либо встречал!

Так сковали нас всех попарно. По окончании этой операции принесли блестящую цепь из никелерованной стали, пропустили ее через звенья всех наручников и замкнули на замок. Теперь мы представляли собою «кандальную шеренгу». Был отдан приказ трогаться, и мы зашагали по улице под охраной двух полицейских. Рослому негру и мне досталось почетное место — во главе процессии.

После могильного мрака тюрьмы солнечный свет ослепил меня. Никогда еще он не казался мне таким отрадным, как теперь, когда я брел, позвякивая кандалами, и знал, что скоро расстанусь с ним на целых тридцать дней.

Под любопытными взглядами прохожих мы шли по улицам городка к железнодорожной станции; особенно заинтересовалась нами группа туристов на веранде одного отеля, мимо которого мы проходили.

Цепь была довольно длинная, и мы со звоном и лязгом расселись попарно на скамьях вагона для курящих. Как ни горячо негодовал я по поводу издевательства, учиненного надо мною и моими предками, все же я был слишком практичен и благоразумен, чтобы терять из-за этого голову. Все было так ново для меня. А впереди еще целый месяц чего-то неизведанного... Я стал озираться кругом, ища кого-нибудь поопытнее меня. Я уже знал, что нас везут не в маленькую тюрьму с сотней арестантов, а в настоящий исправительный дом с двумя тысячами узников, заключенных на сроки от десяти дней до десяти лет.

На скамейке позади меня сидел здоровенный, коренастый мужчина с могучими мускулами. На вид ему было лет тридцать пять — сорок. Я присмотрелся к нему. В выражении его глаз заметны были юмор и добродушие, в остальном он больше походил на животное, и можно было предположить, что он совершенно аморален и наделен звериной силой и всеми звериными инстинктами. Но выражение его глаз — это веселое добродушие зверя, когда его не трогают, — искупало многое, во всяком случае для меня.

Он был моей «находкой». Я «нацелился» на него. И покуда скованный со мной верзила-негр жаловался, что из-за ареста он потеряет обещанную ему работу в прачечной, перемежая, впрочем, свои сетования шутками и смехом, и покуда поезд мчался в Буффало, я разговорился с этим человеком, сидевшим позади меня. Его трубка была пуста. Я набил ее табаком из моего драгоценного запаса, — этого табаку хватило бы на десяток папирос. Да что там, чем дальше

мы с ним беседовали, тем больше я убеждался, что это действительно находка, и в конце концов разделил с ним весь мой табак.

Надо вам сказать, что я довольно покладистый малый и достаточно знаком с жизнью, чтобы приноровиться к любому положению. Я поставил себе целью приноровиться к этому человеку, еще не подозревая даже, до чего удачен мой выбор. Он никогда не сидел в той «исправилке», куда нас везли, но успел отсидеть в других тюрьмах — где год, где два, а где и целых пять — и был начинен арестантской премудростью. Мы довольно быстро освоились друг с другом, и сердце мое дрогнуло от радости, когда он посоветовал мне во всем его слушаться. Он называл меня «малый», и я называл его так же.

Поезд остановился на станции в пяти милях от Буффало, и мы сошли, гремя цепями. Не помню точно, как называлась эта станция, — надо думать, что это было что-то вроде Роклина, Роквуда, Блэкрока, Роккасла или Ньюкасла. Но как бы она там ни звалась, нас сначала немного прогнали пешком, а затем посадили в трамвай. Это был старомодный вагон с сиденьями по обе стороны. Всех пассажиров попросили разместиться на одной стороне вагона, а мы, громко лязгая цепями, заняли места на другой. Мы сидели прямо против них, и я, как сейчас, помню выражение ужаса на лицах женщин, которые, наверное, приняли нас за осужденных на каторгу убийц и банковых громил. Я постарался напустить на себя самый свирепый вид, но мой компаньон по наручникам, развеселый негр, не переставал вращать глазами и повторять со смехом: «О боже! Боже милостивый!»

Мы вылезли из вагона и пешком дошли до канцелярии исправительной тюрьмы округа Эри. Здесь нас переписали, и в этом списке вы можете найти одну из моих двух фамилий. Нам объявили также, что мы должны сдать все ценности: деньги, табак, спички, карманные ножи и прочее.

Мой новый приятель взглянул на меня и отрицательно покачал головой.

— Если вы не оставите ваших вещей здесь, их все равно конфискуют потом, — предупредил чиновник.

Но мой приятель продолжал мотать головой. Он делал какие-то движения руками, пряча их за спиной других арестантов (наручники с нас уже сняли). Я наблюдал за ним и, последовав его примеру, связал в носовой платок все, что хотел взять с собой. Эти узелки мы сунули себе за рубашки. Я заметил, что и прочие арестанты, за исключением одного или двух, у которых имелись часы, не отдали своих вещей чиновнику канцелярии. Они решили довериться случаю, надеясь так или иначе пронести их контрабандой; но они были не так опытные, как мой товарищ, и не связали своих пожитков в узелки.

Конвойные, забрав наручники и цепь, удалились, а нас под охраной новых стражей отправили в тюрьму. Пока мы ожидали в канцелярии, к нам присоединили еще несколько партий вновь прибывших арестантов, так что теперь наша процессия насчитывала сорок — пятьдесят человек.

Знаете ли вы, гуляющие на свободе, что движение в большой тюрьме так же затруднено, как была затруднена торговля в средние века! Попав в исправительный дом, вы уже не можете расхаживать здесь, как вам вздумается. На каждом шагу вы наталкиваетесь на огромные железные двери или ворота, которые всегда на запоре. Нас повели в парикмахерскую, но на нашем пути все время возникали преграды в виде запертых дверей. В первом же «вестибюле» нам пришлось ждать, пока отпирали дверь. «Вестибюль» — это не вестибюль и не коридор. Представьте себе огромный прямоугольный кирпичный брус высотой в шесть этажей: в каждом этаже ряды камер — скажем, по пятьдесят камер в ряду. Еще лучше, вообразите себе огромный пчелиный сот. Поставьте его на землю, обнесите стенами и покройте крышей — и вы получите представление о «вестибюле» исправительной тюрьмы округа Эри. Для полноты картины представьте себе и узенькие висячие галерейки с железными перилами, бегущие вдоль каждого ряда камер. Галерейки с обоих концов соединяются между собой — на случай пожара — узенькими железными лестницами.

Итак, мы задержались в первом «вестибюле», ожидая, пока сторожа отопрут двери. Мимо проходили заключенные с бритыми головами, в полосатой тюремной одежде. Одного такого заключенного я заметил над нами, на галерее третьего этажа. Он стоял, наклонившись вперед, опираясь о перила, и, казалось, совершенно не замечал нашего присутствия. Он смотрел куда-то в пространство. Мой новый приятель издал тихий шипящий звук. Заключенный глянул вниз. Они обменялись какими-то сигналами. Узелок моего приятеля взвился вверх. Заключенный поймал его, мгновенно сунул за пазуху и снова безучастно уставился в пространство. Приятель посоветовал мне последовать его примеру. Я улучил минуту, когда сторож повернулся к нам спиной, и мой узелок тоже полетел вверх и исчез у заключенного за пазухой.

Через минуту дверь отперли, и нас ввели в парикмахерскую. Здесь тоже были люди в волосатой одежде — тюремные цирюльники. Были тут и ванны, и горячая вода, и мыло, и щетки. Нам приказали раздеться и вымыться, причем каждому велено было потереть спину соседу. Это обязательное омовение оказалось совершенно излишним, так как тюрьма кишела паразитами. После мытья каждому дали по холщовому мешку для одежды.

— Сложите свою одежду в мешки, — сказал нам конвойный. — И не пытайтесь протащить, чего не велено! Строиться для осмотра будете голыми. У кого тридцать суток и меньше — оставляйте себе башмаки и подтяжки. У кого больше тридцати суток — не оставляйте ничего. Это всех смутило: как может голый человек пронести «чего не велено»? Только мой приятель и я чувствовали себя спокойно. Но тут за дело принялись цирюльники. Они обходили вновь прибывших, любезно предлагая взять на свое попечение их драгоценные пожитки и обещая вернуть их в тот же день. Послушать их — это были сущие филантропы. Кажется, нигде еще людей так быстро не освобождали от излишнего груза, если не считать случая с Фра Филиппо Липпи³. Спички, табак, папиросная бумага, трубки, ножи, деньги — все решительно исчезло у цирюльников за пазухой и вместились там. Цирюльники раздулись, как пузыри, от своей добычи, а сторожа делали вид, что ничего не замечают. Короче говоря, все это так и пропало. Да цирюльники и не собирались ничего отдавать. Они считали захваченное добро своей законной добычей. Это был побочный доход парикмахерской! В тюрьме, как я потом установил, процветали самые разнообразные виды незаконных поборов. Мне пришлось испытать это на собственном опыте, — все благодаря моему приятелю.

В парикмахерской стояло несколько стульев, и цирюльники работали быстро. Я никогда еще не видел, чтобы людей так проворно брили и стригли! Намывивались заключенные сами, а цирюльники брили их с молниеносной быстротой — по одному человеку в минуту. Стрижка головы занимала чуть побольше времени. В три минуты исчез весь мой пушок восемнадцатилетнего юнца, и голова моя стала гладкой, как бильярдный шар, но с зачатками новой поросли. Нас лишили бороды и усов с таким же проворством, как и нашей одежды и ценностей. Можете мне поверить — после того как нас так обработали, мы приобрели вид настоящих злодеев! Я даже и не подозревал, до чего же мы все гнусные личности!

Потом нас выстроили в шеренгу. Сорок — пятьдесят человек стояли нагишом, подобно героям Кипплинга, бравшим приступом Лунгтунпен. Это чрезвычайно облегчило обыск, на нас были только башмаки. Двое-трое отчаянных голов не решились довериться цирюльникам, и у них сразу нашли их добро — табак, трубки, спички, мелкую монету — и тут же конфисковали.

Покончив с этим, нам принесли новое одеяние: грубые тюремные рубашки, куртки и штаны — все полосатое. Оказывается, я всю жизнь пребывал в заблуждении, полагая, что в полосатую арестантскую одежду облачают лишь уголовных преступников. Тут я со своим заблуждением расстался, надел на себя эту одежду позора и получил первый урок маршрутовки.

Выстроившись тесной вереницей, в затылок друг другу, причем задний держал руки на плечах переднего, мы перешли в другой большой «вестибюль». Здесь нас выстроили у стенки, приказав обнажить левую руку. Студент-медик, молодой парень, практиковавшийся на такой

³ Фра Филиппо Липпи — итальянский художник X века; был, как утверждает предание, похищен пиратами.

скотине, как мы, обошел ряд. Он делал прививку еще вчетверо проворней, чем цирюльники свое дело. Нам велели соблюдать осторожность, чтобы не задеть за что-нибудь рукой, пока не подсохла кровь и не образовался струпик, и развели нас по камерам. Здесь меня разлучили с моим новым приятелем, но он все же успел шепнуть мне: «Высоси!»

Как только меня заперли, я начисто высосал ранку. Потом я видел тех, кто не высосал: у них на руках образовались ужасные язвы, в которые свободно вошел бы кулак! Сами виноваты! Могли бы высосать...

В моей камере находился еще один заключенный. Нам предстояло отбывать срок вместе. Это был молодой, крепкий парень, несловоохотливый, но очень дельный, в общем, превосходный парень, какие встречаются не так уж часто,

— нужды нет, что он только что отбыл двухлетний срок в одной из «исправилок» штата Огайо. Не прошло и получаса, как по галерее прошел заключенный и заглянул в нашу камеру. Это был мой приятель. Оказывается, он получил право свободно расхаживать по «вестибюлю». Его камеру отпирали в шесть часов утра и не запирали до девяти вечера. У него здесь нашелся приятель, и его уже сделали доверенным лицом, носившим наименование «коридорного». В эту должность определило его другое доверенное лицо из заключенных, именовавшееся «первым коридорным». В нашем корпусе было тринадцать коридорных — на каждую из десяти галерей по одному, — а над ними начальствовали первый, второй и третий коридорные.

Мой приятель объяснил мне, что нас, новоприбывших, оставят сидеть в камерах весь остаток дня, чтобы не мешать «приниматься» прививке. А утром поведут на тюремный двор, на принудительные работы.

— Но я вызволю тебя, как только можно будет, — пообещал он. — Добьюсь, чтоб уволили одного из коридорных, а тебя назначили на его место!

Сунув руку за пазуху, он вытащил оттуда платок с моими драгоценными пожитками и передал его мне сквозь решетку. Затем пошел дальше по галерее.

Я развязал узелок. Все оказалось на месте! Не пропало ни единой спички. Я поделился табачком с моим товарищем по камере. Когда я хотел зажечь спичку, он удержал меня. На каждой из наших коек валялось по ветхому, грязному одеялу. Он оторвал узенькую полоску ткани, плотно скрутил ее и поднес к ней драгоценную спичку. Бумажная ткань не воспламенилась, но край обуглился и начал тлеть; он мог тлеть несколько часов. Товарищ мой по камере называл это «трутом». Когда трут догорал, стоило только сделать новый трут, приложить его к догорающему, подуть — и огонек воскресал. Как видите, по части хранения огня мы могли дать сто очков вперед самому Прометею!

В двенадцать часов подали обод. В двери нашей клетки внизу было небольшое отверстие, вроде тех, что делают в курятниках. В это отверстие нам сунули два ломтя сухого хлеба и две мисочки «супа». Порция супа состояла приблизительно из кружки кипятку, на поверхности которого одиноко плавала капля жира. Было в этой воде и немного соли.

Мы выпили суп, но не притронулись к хлебу. Не потому, что были не голодны или хлеб оказался несъедобным, — нет, он был довольно сносный, но у нас имелись на то свои причины.

Мой товарищ обнаружил, что наша камера кишит клопами! Во всех щелях и промежутках между кирпичами, где осыпалась штукатурка, жили огромные колонии этих насекомых.

Старожилы дерзали появляться даже среди бела дня; их были сотни — на стенах и на потолке... Но мой товарищ обладал некоторым опытом по этой части; бесстрашно, как Чайлд-Роланд⁴, вызывал он клопов на бой. Разгорелась небывалая битва. Она длилась за часом час. Она была беспощадна. Но, когда разбитый наголову неприятель бежал в свои штукатурные и кирпичные твердыни, наше дело было сделано еще только наполовину. Мы жевали хлеб, превращали его в замазку и, как только обращенный в бегство воин скрывался в расщелину меж кирпичами, тотчас залепляли ее жеваным хлебом. Трудились мы так до самых сумерек, пока

⁴ Чайлд-Роланд — герой одноименной поэмы английского поэта XIX века Роберта Браунинга.

все отверстия, щели и трещины не оказались закупоренными. Не могу без содрогания подумать о сценах голодной смерти и каннибализма, которым суждено было разыгаться за крепостными стенами из жеваного хлеба.

Измученные и голодные, мы повалились на койки и стали дожидаться ужина. За один день было проделано достаточно. Теперь мы не будем по крайней мере страдать от полчищ паразитов! Пришлось пожертвовать обедом, спасти, так сказать, шкуру за счет желудка, но мы были довольны. Увы! Сколь тщетны человеческие старания! Едва был окончен наш долгий труд, как надзиратель отпер дверь: затеяли перераспределение заключенных — нас перевели двумя галереями выше, в другую камеру.

На другой день рано утром наши камеры отперли, и несколько сот узников выстроились гуськом в нижнем «вестибюле» и пошли на тюремный двор работать. Канал Эри проходил как раз мимо заднего двора исправительной тюрьмы округа Эри. Мы разгружали приплывшие по каналу суда и перетаскивали в тюрьму на спине огромные, похожие на шпалы, распорные болты. Работая, я изучал обстановку, ища возможность дать тягу. Но на это не было и тени надежды. По стенам расхаживали часовые, вооруженные автоматическими винтовками, а в сторожевых башнях, как мне сказали, стояли еще и пулеметы.

Впрочем, я не очень огорчился. Тридцать суток не такой уж большой срок! Потерплю. У меня только прибавится материала против этих гарпий правосудия, который я пушу в ход, как только выйду на свободу. Я покажу, что может сделать американский юноша, когда его права и привилегии растоптаны так, как были растоптаны мои! Меня лишили права предстать перед судом присяжных — не спросили даже, считаю ли я себя виновным или нет; меня, в сущности, осудили без суда (ибо не мог же я считать судом фарс, разыгранный в городе Ниагара-Фоллс!); мне не дали возможности снестись с юристом или с кем бы то ни было и, стало быть, лишили права обжаловать приговор; меня наголо обрили, облачили в полосатую одежду каторжника, держали на воде и хлебе, заставили выполнять каторжную работу и ходить под вооруженным конвоем. И все это — за что? Что я сделал? Какое преступление совершил я по отношению к гражданам города Ниагара-Фоллс, что на меня обрушили все эти кары? Я даже не погрешил против постановления, запрещающего ночевать на улице. Я спал не на улице, а в поле. Я даже не просил хлеба и не выклянчивал «легкую монету» у прохожих. Я только прошелся по их тротуарам и поглядел на их грошовый водопад. Так в чем же тут преступление? Юридически я не совершил ни малейшего проступка. Ладно, я им покажу, дайте мне только выйти на волю! На следующий день я обратился к надзирателю. Я потребовал адвоката. Надзиратель высмеял меня. Надо мной смеялись все, к кому бы я ни обращался. Фактически я был отрезан от мира. Я вздумал написать письмо, но узнал, что письма читаются, подвергаются цензуре или конфискуются тюремными властями и что «краткосрочникам» вообще не разрешено писать писем. Тогда я попробовал переслать письма тайком через заключенных, выходящих на волю, но узнал, что их обыскали, нашли мои письма и уничтожили. Ладно, все это лишь оттягит обвинение, которое я предъявлю, выйдя на свободу!

Но шли дни, и я мало-помалу «умнел». Я наслушался невероятных, чудовищных рассказов о полицейских, об адвокатах, о полицейских судах. Заключенные рассказывали мне вещи поистине страшные о своих столкновениях с полицией в больших городах. Еще страшнее были ходившие среди них истории о людях, которые погибли от рук полиции и, следовательно, не могли уже поведать о себе. Несколько лет спустя в докладе «Комиссии Лексоу» мне пришлось читать правдивые повести, еще более жуткие, чем те, каких я наслушался в тюрьме. А ведь в первые дни заключения я недоверчиво усмехался, слушая эти, как мне казалось, рассказы. Но дни проходили, и я начинал верить. Я собственными глазами увидел в этой «исправилке» вещи невероятные и чудовищные. И чем больше я узнавал, тем сильнее проникался трепетом перед ищейками закона и перед всей машиной правосудия.

Возмущение испарялось, а страх все глубже пускал корни в моей душе. Я отчетливо понял, наконец, против чего я восстал. Я присмирел, утихомирился и с каждым днем все более укреплялся в решении не поднимать шума, когда выйду на волю. Единственное, чего мне

теперь хотелось, — это смыться куда-нибудь подальше. Именно это я и сделал, когда меня освободили. Я придержал язык, ушел тихо и смиренно — умудренный опытом и покорный — и стал пробираться в штат Пенсильвания.

Исправительная тюрьма

На тюремном дворе я трудился не покладая рук два дня. Это была тяжелая работа, и хотя я отлынивал при каждом удобном случае, я совершенно выбился из сил. В этом виновата еда. На таких харчах никто не смог бы как следует работать. Хлеб да вода — вот все, что нам давали. Раз в неделю нам полагалось мясо, но мы не всегда его получали, а если и получали, то после того, как из него предварительно вываривали все питательные вещества: они уходили в «суп», так что уже не имело значения, попадалось ли тебе это мясо или нет.

Кроме того, эта хлебно-водяная диета имела еще один существенный недостаток. Воду нам давали в неограниченном количестве, но хлеба не хватало. Порция хлеба была примерно величиной с два кулака, и такую порцию каждому заключенному давали три раза в день. Должен сказать, что у воды было одно положительное качество — она была горячая. По утрам ее именовали «кофе», в полдень величали «супом», а вечером выдавали за «чай». Но это была все та же, старая как мир, вода. Заключенные называли ее «заколдованной» водой. Утром она была черной, потому что ее кипятили с поджаренными корками хлеба. Днем ее подавали бесцветной со щепоткой соли и каплей жира. Вечером она приобретала багрянисто-каштановый оттенок, происхождение которого оставалось тайной; это был отвратительный чай, но вода все же была отменно горяча.

Мы были всегда голодны в исправительной тюрьме округа Эри. Только «долгосрочники» ели досыта. Причина заключалась в том, что если бы они получали такой же паек, как и мы, осужденные на короткие сроки, они бы умерли до окончания сроков своего заключения. Я знаю, что долгосрочники получали пищу более существенную, потому что в нашем здании они занимали весь первый этаж, и я таскал у них продукты из их запасов, когда был коридорным. Нельзя же быть сытым одним только хлебом, да еще когда его получаешь так мало!

Мой приятель выполнил свое обещание. Я проработал во дворе только два дня, а потом меня назначили доверенным, «коридорным». Утром и вечером мы разносили хлеб по камерам, но в полдень раздача производилась несколько иначе. Длинная шеренга заключенных маршем возвращалась с работы. В коридоре они уже не шли в ногу, каждый снимал руки с плеч впереди идущего товарища. Возле самого входа стояли большие лотки с хлебом, тут же находился главный староста и два коридорных. Я был одним из этих двух. Мы должны были держать перед проходящими заключенными лотки с хлебом. Вот опорожняется лоток, который держу я, вместо меня с полным лотком становится другой коридорный. А когда опустеет его лоток, я заменяю его с полным лотком. Таким образом арестанты безостановочно шли мимо, каждый протягивал правую руку и брал одну порцию хлеба.

У главного старосты были другие обязанности. Он орудовал дубинкой. Он стоял у лотка и наблюдал. Изголодавшиеся бедняги никогда не могли отделаться от ошибочной мысли, что в один прекрасный день им удастся взять с лотка два куска хлеба. Однако на моей памяти такого случая не было. Дубинка главного старосты молниеносно, как лапа тигра, опускалась на провинившуюся руку. У главного старосты был отличный глазомер, он изувечил этой дубинкой столько рук, что действовал безошибочно. Он ни разу не промахнулся и в наказание отбирал у провинившегося арестанта и ту порцию, что ему полагалась, и отправлял его в камеру обедать горячей водой.

И в то время, когда эти несчастные валялись голодные в своих камерах, я видел, как сотни лишних порций хлеба перекочевывали в камеры коридорных и старост. Наше стремление

присвоить себе этот хлеб может показаться абсурдным. Однако это был один из видов наших доходов. В стенах нашего коридора мы были экономическими магнатами, проделывая операции, во многом схожие с теми, которые осуществляют экономические магнаты государственного масштаба. Мы держали под контролем снабжение населения продовольствием, и совершенно так же, как это делают наши собратья-бандиты на воле, мы заставляли население дорого платить за это. Мы торговали лишним хлебом. Раз в неделю заключенные, работающие во дворе, получали пятицентовый кусок жевательного табака. Этот жевательный табак и был денежной единицей нашего царства. Мы давали две-три порции хлеба за кусок табака, и они шли на это не потому, что табак любили меньше, но потому, что они больше любили хлеб. О, я знаю, это все равно, что отнять у ребенка конфету. Но что поделаешь? Нам надо было жить. И, конечно, инициатива и предприимчивость требовали вознаграждения. Кроме того, мы всего-навсего подражали нашим более преуспевшим собратьям на воле, которые в несоизмеримо больших масштабах и под респектабельной маской купцов, банкиров и магнатов индустрии делали то же самое, что и мы. Я даже не могу себе представить, что было бы без нас с этими несчастными заключенными. Мы пустили в оборот хлеб в исправительной тюрьме округа Эри, тому свидетель небо. Да, и мы поощряли умеренность и бережливость... у этих бедняг, которые отказывали себе в табаке. И кроме того, мы подавали им пример. В душе каждого арестанта мы зародили стремление возвыситься до нашего положения и тоже брать дань. Я полагаю, мы были попросту спасителями человечества. Вот вам голодный мужчина, у которого не было табаку. Может быть, он дошел до такого разврата, что сам его сжевал. Отлично, но у него была пара подтяжек. Я ему за них предлагал полдюжины кусков хлеба или целую дюжину, если подтяжки очень хороши. Сам я никогда не носил подтяжек, но это не имело значения. За углом обитал долгосрочник, осужденный на десять лет за непреднамеренное убийство. Он носил подтяжки, и ему нужна была одна пара. Я мог поменять их на мясо. А мне нужно было мясо. Или, может быть, у него был какой-нибудь старый, потрепанный роман без обложки. Это было целое состояние. Я мог его прочесть и потом отдать пекарям за пирожное, или поварам за мясо и овощи, или кочегару за приличный кофе, или еще кому-нибудь в обмен на газету, которые изредка к нам попадали бог весть какими путями. Повара, булочники и кочегары были такими же арестантами, как и я; и они размещались в нашем здании этажом выше.

Короче говоря, в исправительной тюрьме округа Эри процветала прекрасно организованная система товарообмена. В обороте были даже деньги. Эти деньги иногда контрабандой приносили с собой краткосрочники, чаще всего они попадали к нам от цирюльника, который обирал вновь прибывающих, но в подавляющем большинстве случаев они шли из камер долгосрочников, хотя я совершенно не понимаю, как они туда попадали.

Положение главного старосты было исключительным еще и потому, что его считали богатым. Помимо прочих источников дохода, он еще обирал нас. Мы взяли на откуп всю массу несчастных, а главный староста был генеральным откупщиком над всеми нами. Мы получали свои доходы с его разрешения и должны были платить ему за это. Как я уже сказал, его считали человеком состоятельным, но мы никогда не видели его денег, он жил в своей камере в блестящем одиночестве.

Но я утверждаю с полной ответственностью, что в исправительной тюрьме можно было добыть деньги, я знаю это потому, что мне пришлось жить в одной камере с третьим старостой. У него было больше шестнадцати долларов. Каждый вечер после девяти часов, когда нас запирали, он имел обыкновение пересчитывать свои капиталы. Он также имел обыкновение каждый вечер рассказывать мне, что он со мной сделает, если я донесу на него другим коридорным. Видите ли, он боялся, что его ограбят, и опасность угрожала ему с трех сторон. Существовала охрана. Два охранника могли наброситься на него, избить как следует под предлогом «неподчинения» и посадить в «одиночку» (карцер), а в суматохе эти шестнадцать долларов улетучились бы. Опять же их мог отобрать главный староста, пригрозив, что разжалует его и снова направит на тяжелые работы в тюремный двор. И кроме того, было десять человек нас, простых

коридорных. Если бы кто-нибудь намекнул коридорным о его богатстве, то скорее всего в один прекрасный день вся наша братия загнала бы его в угол и выпотрошила. О, смею вас уверить, мы были волки, точно как те парни, которые делают бизнес на Уолл-стрите.

У него были все основания бояться нас, и, следовательно, у меня были все основания бояться его. Это был грубый, неграмотный верзила, бывший чесапикский устричный пират, «рулевой», который отсидел в тюрьме Синг-Синг пять лет, и вообще он был олицетворением непроходимой тупости плотоядного животного. Он постоянно ловил воробьев, которые залетали в наш коридор сквозь прутья решеток. Когда ему удавалось схватить жертву, он спешил с ней в свою камеру, где пожирал ее живьем. Я сам видел это — косточки хрустели у него на зубах, а он только выплевывал перья. О нет, я никогда не доносил на него другим коридорным. Сейчас я впервые рассказал о его шестнадцати долларах.

Но тем не менее я брал с него взятки. Он был влюблен в одну заключенную, которая находилась в «женском отделении». Он не умел ни читать, ни писать, и я обычно читал ему ее письма и писал от его имени ответы. И ему приходилось платить за это. Но это были хорошие письма. Я вкладывал в них свою душу, я делал все, что было в моих силах, и я покорила ее для него, хотя я отлично понимаю, что она полюбила не его, а неизвестного автора писем. Повторяю, письма были потрясающие.

Другой статьей наших доходов был «трут». В этом железном мире решеток и засовов мы были посланцами небес, приносящими священный огонь. Когда по вечерам арестантов приводили с работы и запирали в камерах, они жаждали закурить. Тогда-то мы и разжигали божественную искру, перебежавшую с этажа на этаж, из камеры в камеру с нашего тлеющего фитиля. Тот, кто был поумнее или с кем мы вели дела, держал свой трут наготове. Однако не каждый получал божественную искру. Парень, который отказывался с нами сотрудничать, ложился спать без огня и без курева. Но какое нам до этого дело? Нам была ниспослана вечная власть над ним, и если он пытался дерзить нам, двое-трое наших брали его в оборот и объясняли ему что к чему. Как видите, у коридорных была своя философия. Нас было тринадцать. В нашем коридоре было что-то около полутысячи заключенных. Считалось, что мы работаем и поддерживаем порядок. Последнее было делом надзирателей, но они передоверили это нам. Поддерживать порядок было нашим кровным делом; если бы мы этого не делали, нас бы тут же отправили на тяжелые работы, и мы, конечно, не миновали бы и карцера. Но до тех пор, пока все было в порядке, мы могли обделывать свои собственные делишки.

Остановитесь на минутку и постарайтесь представить себе ситуацию. Нас было тринадцать животных на полтысячи других животных. Это был сущий ад — наша тюрьма, — и мы должны были править ею. Немыслимо было, учитывая природу этих животных, держать их в повиновении и проявлять к ним доброту. Мы правили при помощи террора. Разумеется, у нас за спиной, поддерживая нас, стояла охрана. В крайних случаях мы обращались к ним за помощью, но им бы скоро надоело, если бы мы беспокоили их слишком часто, и возникла бы угроза, что они найдут на наше место более толковых коридорных. Но мы обращались к ним редко, в тех случаях, когда нужно было действовать решительно и спокойно: если требовалось отпереть камеру и подойти к взбунтовавшемуся узнику. В таких случаях надзиратель только отпирал дверь и тут же уходил, чтобы не видеть, как полдюжины коридорных врываются в камеру и избивали заключенного.

Что же касается подробностей этой операции, то я лучше не буду на них останавливаться. В конце концов среди неопишуемых ужасов тюрьмы округа Эри избивение заключенных было самым незначительным явлением. Я сказал «неопишуемых», и ради справедливости я должен еще добавить «невообразимых». Я не верил, что существуют подобные зверства, пока не убедился в этом собственными глазами, а я не был желторотым юнцом и знал жизнь и глубины человеческих пороков. Чтобы измерить эту глубину в тюрьме округа Эри, понадобился бы очень длинный лот, а здесь я только слегка и игриво касаюсь явлений, которые я там наблюдал.

Временами, например, по утрам, когда заключенные шли вниз умываться, мы, тринадцать человек, фактически оказывались среди них в полном одиночестве, самый последний из арестантов понимал, что они могут с нами расправиться.

Тринадцать против пятисот, и мы правили с помощью террора. Мы не могли допустить ни малейшего нарушения правил, ни малейшей дерзости. Если бы мы это позволили, мы бы погибли. У нас было свое правило: бить человека, едва он раскроет рот: бить сильно, бить чем попало. Метла, рукоятью в лицо, производила весьма отрезвляющее действие. Мало того, в назидание другим надо было еще как следует избить его, и второе правило — броситься за ним, преследовать его в толпе. Все, конечно, знали, что каждый коридорный, который увидит погоню, немедленно присоединится к карателям, потому что это тоже входило в правила. Всякий раз, когда коридорный схватывался с заключенным, все остальные коридорные должны были немедленно пустить в ход свои кулаки. Не имеет значения в чем дело — набрасывайся и бей наповал, бей чем попало, одним словом, уложи его на месте.

Мне запомнился один красавец мулат лет двадцати, у которого была идиотская идея отстаивать свои права. В данном случае он действительно был прав, но это ему ни в какой мере не помогло. Его камера находилась на самом верхнем этаже. Восемь надсмотрщиков выбили из его головы зазнайство ровным счетом за полторы минуты, потому что этого времени было достаточно, чтобы протащить его до конца коридора и спустить с пятого этажа вниз по стальным ступеням. Этот путь он проделал всей поверхностью своего тела, кроме ног, и восьмерка надсмотрщиков не теряла времени зря. Мулат грохнулся о каменный пол неподалеку от того места, где я стоял, наблюдая все это. Он поднялся на ноги и простоял какую-то долю секунды. В то же мгновение он широко раскинул руки, и из груди его вырвался страшный крик ужаса и боли. И тут же, как в сцене с превращениями, его крепко сшитая арестантская одежда свалилась с него, разорванная в клочья, он оказался голым, все его тело обагрилось кровью, и, потеряв сознание, он рухнул на пол, как подкошенный. Так он получил свой урок, и одновременно каждый узник в этих стенах, который слышал его крик, тоже получил урок. И для меня это было уроком. Не очень-то приятно видеть, как за полторы минуты у человека разрывается сердце.

Следующий пример пояснит вам, как мы выколачивали прибыль из тлеющего трута. Партию новеньких размещают в ваших камерах. Вы проходите мимо решеток со своим трутом. «Эй, бо (хобо), дай огоньку!» Ну, это равносильно заявлению, что у него есть табак. Вы передаете ему трут и идете своей дорогой. Немного погодя вы возвращаетесь и невзначай останавливаетесь у его решетчатой двери. «Послушай, бо, ты не одолжишь нам немного табачку?»

— вот что вы говорите. Если он недостаточно искушен в этой игре, все шансы за то, что он торжественно объявит, что у него не осталось табаку. Очень хорошо. Вы посочувствуете ему и пойдете своей дорогой. Но вам известно, что вашего фитиля ему хватит только на один день. На следующий день вы проходите мимо, и он снова спрашивает: «Эй, бо, дай огоньку». А вы отвечаете: «У тебя нет табаку, и тебе не нужен огонь». И вы ему ничего не даете. Спустя полчаса, или час, или два, или три часа вы будете проходить мимо, и человек этот окликнет вас размягченным голосом: «Поди-ка сюда, бо». И вы подойдете. Вы просунете руку сквозь решетку, и вашу ладонь наполнят драгоценным табаком. Тогда вы дадите ему огня.

Бывает иногда, что прибывает новенький, на котором ничего нельзя заработать. Таинственное предписание, что с ним надо обращаться как следует, сопутствует этому человеку. Я никак не мог докопаться, откуда исходило подобное приказание. Одно было очевидно: этот человек имел протекцию. Может быть, он был связан с одним из вышестоящих надсмотрщиков, может быть, с кем-нибудь из охраны, может быть, за это хорошее обращение было заплачено высшим инстанциям, но как бы то ни было, мы знали, что нам следует хорошо с ним обращаться, если мы не хотим нажать себе неприятностей.

Мы, коридорные, были и посредниками и обыкновенными посыльными. Мы налаживали торговлю между узниками, размещенными в разных частях тюрьмы, и мы осуществляли товарообмен. При этом мы брали причитающееся нам комиссионное вознаграждение с тех, кто

покупает, и с тех, кто продает. Порой предметы купли-продажи проходили через руки полдюжины посредников, каждый из которых брал свою долю, и не одним, так другим способом получал за свои услуги.

Случалось, человек оказывался в долгу за оказанные ему услуги, бывало и так, что ему были должны. Так, я, поступая в тюрьму, стал должником человека, который контрабандой протасил мои вещи. Прошло около недели, и один из истопников вложил мне в руку письмо. Оно попало к нему от цирюльника. Цирюльник получил его от заключенного, который пронес мои вещи. Так как я был у него в долгу, я должен был передать его письмо. Но письмо это писал не он. Настоящим его отправителем был долгосрочник из того же коридора, что и он. Письмо надо было передать одной заключенной из женского отделения. Но предназначалось ли оно ей самой, или она, в свою очередь, была лишь одним из звеньев в цепи посредников, я не знал. Единственное, что мне было известно, — ее приметы, все остальное зависело от меня: я должен был передать письмо ей в руки.

Прошло два дня, в течение которых я держал письмо у себя, затем представился удобный случай. Женщины занимались починкой белья для заключенных. Несколько наших коридорных должны были идти в женское отделение, чтобы принести огромные узлы с бельем. Я договорился с главным старостой, что пошлют меня. Перед нами отпирали дверь за дверью, и мы шли через тюрьму к камерам женщин. Мы вошли в большую комнату, где сидели за работой женщины. Я стал искать глазами ту, которую мне описали. Я обнаружил ее и стал к ней пробираться. Две матроны с ястребиными глазами были начеку. Я держал письмо в ладони и многозначительно посмотрел на женщину, чтобы определить, знает ли она о моем намерении. Она знала, что у меня для нее что-то есть, она, вероятно, ожидала послания и с момента нашего прихода старалась угадать, кто из нас посыльный. Но одна из матрон стояла в двух шагах от нее. Коридорные уже собирали узлы с бельем, которое мы должны были унести. Время уходило. Я замешкался со своим узлом, делая вид, что он плохо увязан. Неужели эта матрона никогда не отвернется? Или я потерпел неудачу? И как раз в это время другая женщина начала заигрывать с одним из коридорных, вытянула ногу и наступила ему на башмак, или ущипнула его, или что-то в этом роде. Матрона посмотрела в ту сторону и резко ее осадил. Не знаю, было ли это специально придумано, чтобы отвлечь внимание матроны, но я знал одно: такой случай не повторится. Рука женщины, за которой я следил, соскользнула с колен. Я наклонился, чтобы поднять свой узел. Наклонившись, я положил ей в руку письмо и взамен получил другое. В следующий момент узел был на моем плече, взгляд матроны снова остановился на мне, потому что я был последним коридорным, оставшимся в комнате, и я заспешил за своими приятелями. Письмо, полученное от той женщины, я передал истопнику, потом оно через руки цирюльника попало к заключенному, пронесшему мои вещи, и дальше — долгосрочнику в другой конец тюрьмы.

Часто мы передавали письма по таким запутанным каналам, что не знали ни отправителей, ни получателей. Мы были всего лишь звеньями цепи. Где-то каким-нибудь образом вложит, бывало, узник мне в руку письмо с поручением передать его следующей инстанции. За все подобные услуги я впоследствии получал плату: сталкиваясь непосредственно с главным агентом по передаче писем, я получал от него вознаграждение. Вся тюрьма была охвачена сетью связи, что вполне естественно, так как мы, являясь точной копией капиталистического общества, вимали за это с наших клиентов немалую дань. Это были услуги только ради выгоды, хотя временами мы были готовы оказать услугу не в службу, а в дружбу.

Во время пребывания в тюрьме я старался ладить со своим приятелем. Он много для меня сделал и, в свою очередь, ожидал, что я так же много сделаю для него. Когда мы вышли на свободу, мы уехали вместе и, само собой разумеется, должны были вместе «работать». Дело в том, что мой приятель был преступником, ну не первого класса, а обыкновенным мелким преступником, которые воруют и грабят, совершают кражи со взломом и не остановятся перед убийством, если не будет другого выхода. В течение многих часов мы с ним сидели и мирно толковали. На ближайшее будущее у него на примете были два или три дела, в которых я

должен был принять участие, и мы вместе разрабатывали детали. Я знал многих преступников, меня частенько видели с ними, и моему приятелю не приходило в голову, что я морочил ему голову, водил его за нос в течение тридцати дней. По его мнению, я был для него находкой, он симпатизировал мне, потому что я был неглуп и вообще, по-моему, я ему нравился. У меня, разумеется, не было ни малейшего желания связываться с ним и заниматься жалкими, убогими преступлениями, но я был бы последним идиотом, если бы отказался от всех благ, которые мне сулила дружба с этим человеком. Когда опускаешься в ад и ноги твои ступают по раскаленной лаве, уже не выискиваешь прямую тропинку и не обдумываешь каждый свой шаг; именно так и случилось со мной в исправительной тюрьме округа Эри. Я должен был оставаться в шайке или идти на тяжелые работы, чтобы заработать себе на хлеб и воду, а чтобы остаться в шайке, я должен был ладить со своим приятелем.

Жизнь в исправительной тюрьме не отличалась однообразием. Каждый день что-нибудь происходило: то с кем-нибудь из заключенных случится припадок, глядишь, кто-нибудь сойдет с ума, подерется, или коридорные напьются! Джек Ровер, один из рядовых коридорных, был нашей звездой первой величины. Это был заядлый бродяга, «профессионал», продувная бестия, и поэтому он пользовался всевозможными поблажками надсмотрщиков, облеченных властью. Джо Питсбург, который был вторым коридорным, обычно звал Джека Ровера на свои попойки, и у этой парочки была поговорка, что тюрьма округа Эри — это единственное место, где человек может напиться, не опасаясь ареста. Я не знаю, так ли это, но мне рассказывали, что бромистый калий, добытый при помощи всевозможных ухищрений из аптеки, и был тем наркотиком, которым они опьянялись. Но каковы бы ни были средства опьянения, мне доподлинно известно, что они добывали таковые и время от времени напивались.

Наше отделение было настоящим притоном, его наполняла всякая мразь, отщепенцы общества, подонки, отбросы. Здесь были потомственные бездельники, дегенераты, калеки, психопаты, слабоумные, эпилептики, уроды, идиоты — словом, воплощение кошмара, до которого может прийти человечество. Поэтому у нас постоянно случались припадки истерии. Казалось, эти припадки были инфекционным заболеванием. Когда у кого-нибудь начинался припадок, другие следовали его примеру. Я видывал, как по семь человек сразу бились в припадке, они оглашали воздух неистовыми криками, и вокруг них металась и бормотала еще столько же помешанных. Никто никогда не оказывал припадочным никакой помощи, если не считать того, что их обливали из ведра холодной водой. Бесполезно было посылать за врачом или за студентом-медиком. Их не полагалось беспокоить по такому незначительному поводу.

Там был мальчик-датчанин, восемнадцати лет от роду, у него припадки случались чаще, чем у других. Обычно он падал каждый день. По этой причине мы держали его на первом этаже в самом конце коридора, подальше от того места, где размещались мы. После того, как с ним случилось несколько припадков в тюремном дворе, охрана отказалась с ним возиться, и чтобы он не оставался один, его все время держали взаперти с одним англичанином, посаженным к нему для компании. Не то, чтобы от этого простака была какая-нибудь польза. Каждый раз, когда у мальчика начинался припадок, англичанин от ужаса находился в состоянии шока. Датчанин не знал ни слова по-английски. Он был крестьянским парнем и получил девяносто дней за то, что ввязался в какую-то драку. Перед припадками он дико выл. Он выл по-волчьи. К тому же во время припадков он стоял, что было пагубно для него, так как в конце припадка он падал навзничь на пол. Заслышав протяжный волчий вой, я обычно хватал метлу и бежал к его камере. Коридорным из заключенных не доверяли ключей от камер, так что я не мог к нему войти. Он обычно стоял в центре своей узкой камеры, содрогаясь от конвульсий, глаза его закатывались все больше и больше, пока зрачки совсем не исчезали. Это был вопль загубленной души.

Как я ни старался, я не мог заставить англичанина протянуть ему руку. Все время, что он стоял и выл, простачок дрожал на верхних нарах, его застывший от ужаса взгляд был прикован к страшной фигуре с закатившимися глазами, которая выла и выла. Для него это тоже было

тяжело, для этого бедняги англичанина. Его собственный рассудок был не совсем в порядке, и это чудо, что он не сошел с ума.

Единственное, что я мог сделать, я делал с помощью моей метлы. Я просовывал ее сквозь решетку к груди датчанина и ждал. С приближением кризиса он начинал раскачиваться взад и вперед. Я двигал следом за ним свою метлу, потому что нельзя было предугадать, когда он рухнет лицом вниз. Но когда происходило это ужасное падение, я был здесь со своей метлой, подхватывая его и смягчая удар. Как я ни старался, он ни разу не упал без сильных ушибов, и на лице его всегда были синяки и кровоподтеки — следы падений на каменный пол. Он начинал корчиться в конвульсиях, и тут я выливал на него ведро воды. Не знаю, ведро воды — это верное средство или нет, но так было принято делать в тюрьме округа Эри. Больше для него никто ничего не делал. Он обычно лежал промокший около часу, а потом уползал на свои нарты. Я знал, что лучше не бежать за помощью к охране. В конце концов что такое человек в припадке?

В соседней камере жил странный тип — мужчина, который получил шестьдесят дней за то, что съел помой из ушата в цирке Барнама, во всяком случае, он излагал свою историю именно так. Голова у него была не совсем в порядке, но первое время он был тих и скромен. Все, что с ним случилось, произошло именно так, как он рассказывал. Он заблудился где-то возле цирка и, будучи голоден, подошел к ушату, куда бросали объедки со стола циркачей. «И это был действительно хороший хлеб, — часто уверял он меня, — а мяса совсем не было видно».

Полицейский заметил его и арестовал, и вот он попал к нам.

Однажды я проходил мимо его камеры с тонкой стальной проволокой в руках. Он попросил дать ему эту проволоку с таким серьезным видом, что я просунул проволоку сквозь его решетку. Быстро, не имея никаких инструментов, кроме своих пальцев, он разделил ее на короткие куски и скрутил из них полдюжины очень хороших английских булавок. Он заострил их концы о каменный пол. Тогда я открыл настоящую торговлю английскими булавками. Я доставал сырье и реализовывал готовую продукцию, а он работал. Что же касается платы, то я давал ему лишние порции хлеба, а иногда куски мяса или мозговую кость из супа.

Но пребывание в тюрьме плохо сказывалось на его здоровье, и изо дня в день он становился все более ненормальным. Надсмотрщикам доставляло удовольствие дразнить его. Его помутившийся рассудок жадно впитывал их рассказы об огромном состоянии, которое будто бы он должен был получить. Они уверяли, что его арестовали и бросили в тюрьму для того, чтобы ограбить. Он, разумеется, и сам знает, что нет такого закона, который запрещает питаться отбросами из ушата. Следовательно, его не имели права лишать свободы. Это сделали заговорщики с целью лишить его наследства.

Я узнал об этом от коридорных, которые были в восторге от своей выдумки. Вскоре он устроил со мной очень серьезное совещание, во время которого рассказал мне о своих миллионах, о заговоре, связанном с этими миллионами, и сообщил, что назначает меня своим сыщиком. Я приложил все силы, чтобы его успокоить, не очень убедительно рассказал ему об ошибке и о том, что настоящим наследником является его однофамилец. Я оставил его совершенно спокойным, но я не мог изолировать его от остальных коридорных, а они продолжали дразнить его пуще прежнего. В конце концов после дичайшей сцены он меня отверг, лишил меня звания частного сыщика и объявил забастовку. Моя торговля английскими булавками прекратилась. Он отказался делать булавки и швырнул в меня сырьем, когда я проходил мимо его решетки. Я уже не мог с ним ладить. Другие коридорные сказали ему, что я являюсь платным агентом заговорщиков. И в то же время своими выдумками они доводили его до безумия. Эти вымышленные истории взбудоражили его мозг, и в конце концов он превратился в опасного сумасшедшего, одержимого мыслью об убийстве. Охранники отказывались выслушивать его рассказы о похищенных миллионах, и он обвинил их в том, что они участвуют в заговоре. Однажды он запустил в одного из них кружкой с кипятком, и тогда расследовали его дело. Начальник тюрьмы поговорил с ним несколько минут через решетку. Затем его взяли для

медицинского освидетельствования. Больше его никто не видел, и я часто думаю: умер он или все еще бредит о своих миллионах в каком-нибудь сумасшедшем доме.

Наконец настал долгожданный день моего освобождения. В этот же день выходил на свободу и третий коридорный, а девушка, отбывавшая краткосрочное наказание, та, которую я покорил для него, ожидала его у стен тюрьмы. Они блаженно пошли рядом.

Я и мой приятель вышли вместе и вместе направились в Буффало. Будем ли мы всегда вместе? В тот день мы вместе выпрашивали монетки на хлеб на «главном проспекте», и то, что мы получили, было истрачено на суперпиво, я не знаю, как пишется это слово, но произносится оно так, как я его написал, и стоит оно три цента. Я все время ждал удобного случая, чтобы улизнуть. От одного парня на дороге мне удалось узнать, в какое время проходит товарный поезд. В соответствии с этим я все рассчитал. В этот час я со своим приятелем сидел в салуне. Перед нами стояли две пенящиеся кружки. Мне очень хотелось с ним попрощаться. Он много для меня сделал. Но я не рискнул. Я вышел через черный ход и перемахнул через забор. Это было молниеносное бегство, и несколько минут спустя я был уже в товарном вагоне и мчался на юг по Западной Нью-Йоркско-Пенсильванской железной дороге.

Бродяги, которые проходят ночью

Когда я скитался по стране, я встречал сотни бродяг, которых я приветствовал или они приветствовали меня, вместе с которыми у водокачек я ожидал поездов, кипятил воду, готовил изысканные обеды, попрошайничал по дорогам и у кухонных дверей, цеплялся на подножки, — мы расставались, и я их больше никогда не встречал. Но были бродяги, которые исчезали и снова попадались на моем пути поразительно часто, а были еще и такие, которые проходили совсем рядом, невидимые, как призраки, и я с ними никогда не встречался.

К числу таких бродяг принадлежал человек, за которым я мчался через Канаду по железной дороге больше трех тысяч миль и ни разу не видел его в глаза.

Кличка его была Джек-Парус. Впервые я наткнулся на это имя в Монреале. Большим складным ножом на водокачке был вырезан верхний парус корабля. Выполнено это было превосходно. Под рисунком стояла подпись «Джек-Парус» и ниже «Н. З. 10-15-94». Последнее значило, что он отбыл из Монреаля в направлении на запад 15 октября 1894. Нас разделяли одни сутки. Как раз тогда у меня была кличка «Джек-Матрос», и я тотчас же вырезал ее рядом с его именем, поставил дату и сообщил, что я тоже направляюсь на запад.

Следующие сто миль меня преследовали неудачи, и я напал на след Джека-Паруса только через неделю в трехстах милях западнее Оттавы. Его знак был нацарапан на водокачке, и по дате я понял, что он тоже задержался. Он обогнал меня только на два дня. Я был «кометой» и «королем бродяг», так же как и Джек-Парус. Из гордости и чтобы укрепить свою репутацию, я решил догнать его. Я ехал по железной дороге день и ночь и перегнал его, потом он, в свою очередь, перегнал меня. Иногда он вырывался вперед на один-два дня, иногда впереди был я. От бродяг, направлявшихся на восток, я иногда слышал о нем, они же мне рассказали, что он заинтересовался Джеком-Матросом и наводил обо мне справки.

Мы были бы с ним великолепной парой, если бы когда-нибудь встретились, я в этом уверен, но встретиться нам так и не удалось. Когда мы пересекали Манитобу, я был впереди, а в Альберте впереди все время был он, и в одно отвратительное хмурое утро на границе провинции Альберта, чуть восточнее перевала Брыкливой Лошади, я узнал, что его видели минувшей ночью между Брыкливой Лошадью и перевалом Роджерса. Сведения эти поступили ко мне довольно странным путем. Всю ночь я ехал в «пульмановском вагоне с боковым затвором» (то есть в товарном) и замерз до полусмерти. На остановке я вылез попросить что-нибудь поесть. Холодный туман застилал все вокруг в депо; я набрел на нескольких кочегаров. Они дали мне

остатки своего завтрака, и вдобавок я получил от них около кварты замечательного кофе «Ява». Кофе я подогрел, и, когда принялся за еду, с запада появился товарный поезд. Я увидел, как открылась боковая дверь и из вагона вылез бездомный мальчишка. Сквозь пелену тумана он заковылял ко мне. Он совершенно ооченел от холода, губы у него посинели. Я разделил с ним мой кофе и остальную еду, расспросил о Джеке-Парусе и потом о нем самом. Представьте, он был из моего родного города Окленда в Калифорнии, и он был членом знаменитой шайки Боу, шайки, к которой я иногда примыкал. Мы второпях за полчаса поели и поговорили. Потом мой состав тронулся, и я вскочил на него, чтобы продолжать путь на запад по следам Джека-Паруса. Я застрял между горными перевалами, два дня шел без еды, а на третий день, прежде чем раздобыть еду, проделал путь в одиннадцать миль, и все-таки мне удалось перегнать Джека-Паруса на реке Фрезер, в Британской Колумбии. Я ехал на пассажирском и сэкономил время, но он, должно быть, тоже ехал на пассажирском, и с большей ловкостью или с большей удачей, чем я, потому что в Мишн он прибыл раньше меня.

Мишн — это узловая станция в сорока милях к востоку от Ванкувера. С этой станции можно было отправиться и на юг через Вашингтон и Орегон по Северной-Тихоокеанской. Я гадал, какой путь изберет Джек-Парус, я был уверен, что он от меня отстал. Сам-то я все еще пробирался на запад, к Ванкуверу. Я подошел к водокачке, чтобы начертать это сообщение, и увидел там помеченную тем же днем свежую отметину Джека-Паруса; я поспешил в Ванкувер, но он исчез.

Он тут же сел на корабль и уже летел на запад в своем кругосветном приключении. Право, Джек-Парус, ты король бродяг, и твоим другом был «ветер, бродяжничающий по всему свету». Я снимаю перед тобой шляпу. Ты профессионал, продувная бестия. Неделей позже я тоже сел на свое судно, на пароход «Уматилла». На его палубе я отработал свой проезд на юг, к Сан-Франциско. Джек-Парус и Джек-Матрос! Эх, если бы мы только встретились!

Водокачки — адресные книги бродяг. Не от дури и не просто так пишут бродяги свои прозвища, даты и указания, куда они направляются. Не один раз встречал я хобо, которые настойчиво выспрашивали, не видел ли я где-нибудь такую-то и такую-то персону или его факсимиле. И я часто мог вспомнить кличку, которую видел накануне, и бак, где она была написана, и направление, куда он следовал. И тотчас же бродяга, которому я сообщал эти сведения, мчался вдогонку своему приятелю. Я встречал бродяг, которые, пытаясь догнать товарища, пересекали весь континент туда и обратно и продолжали поиски.

Клички — это *nom-de-rails*, которые бродяга присваивает себе сам или которые дают ему его товарищи. Джо Трус, например, был робок, и так его называли приятели. Ни один уважающий себя бродяга не выберет себе кличку Копченая Туша. Очень немногие бродяги любят вспоминать те позорные времена, когда они работали, так что клички, происходящие от названия профессии, очень редки, хотя, мне помнится, я встречал следующие: Литейщик Блэки, Рыжий Маляр, Жестянщик Ши, Котельщик, Матрос и Печатник. Между прочим, «Ши» на жаргоне означает «Чикаго»⁵.

Больше всего бродяги любят придумывать себе клички, указывающие на местность, откуда они родом, как, например, Нью-йоркский Томми, Тихоокеанский Слим, Смит из Буффало, Кантонский Тим, Питсбургский Джек, Сиракузский Блеск, Мики из Трои, Коннектикутский Джимми. Был еще «Слим Джим с Виноградного холма, никогда не работал, хоть дел там тьма». «Блеск» — всегда прозвище негра, называют их так, вероятно, из-за бликов света на черных негритянских физиономиях. Техасский Блеск или Блеск Толедо указывает сразу и национальность и происхождение.

Среди тех, кто включал в кличку свою национальность, я запомнил Фриско-еврея, Нью-йоркского Ирландца, Француза из Мичигана, Джека-Англичанина, Кокни-Кида, Голландца из Миллуоки. Другие брали свои клички по цвету кожи: Ши Белый, Краснокожий из Нью-Джерси,

⁵ Американцы произносят не Чикаго, а «Шикагоу».

Черный-бостонец, Коричневый из Сиэттла и Желтый Дик и Желтобрюхий, последний креол с Миссисипи, которому, по-моему, насильно навязали эту кличку.

Король Техаса, Счастливчик Джо, Бесстрашный Коннорз, Бо-Силач, Мрачный торнадоец, Мак Кол-Гроза проявляли больше выдумки, когда пришлось вторично окрестить себя. Другие, у кого фантазии было меньше, пытались произвести имена от своих физических недостатков, как-то: Ванкуверская каланча, Детройтский коротышка, Толстяк из Огайо, Длинный Джек, Большой Джим, Маленький Джим, Заморыш из Нью-Йорка, Носатый Ши и Горбатый Бэн. Отдельно стоят клички бездомных мальчишек, к которым прибавляли слово «малыш» — «Кид». Я, например, припоминаю следующие: Кид-Щеголь, Слепой Кид, Кид-Карапуз, Нудный Кид, Кид-Гуляка, Шустрый Кид, Кид-Поваренок, Кид-Мартышка, Кид из Иовы, Кид-Плисовые Штаны, Кид-Оратор (который может рассказать, «как это произошло») и Кид-Нахал (который был грубияном, можете не сомневаться).

На водокачке в Сан-Марсиал, штат Нью-Мексико, лет десять назад красовался следующий путеводитель для бродяг:

1. Главная дорога — лафа.
2. «Быки» не жлобы.
3. Паровозное депо — годится поспать.
4. Поезда на север плохие.
5. В частные не заходи.
6. Рестораны хороши только для поваров.
7. Вокзал хорош только для ночной работы.

Пункт первый сообщает, что стоит просить милостыню на главной улице; пункт второй — что полиция не беспокоит бродяг; пункт третий — что можно поспать в депо. Пункт четвертый, однако, можно понимать по-разному. На поезда, идущие на север, может быть, было неудобно садиться, а может, в них нельзя ничего выпросить. Пункт пятый означал, что в особняках нищим не подают, а пункт шестой — что только бывшие повара могут получить пищу в ресторанах. Пункт седьмой меня смутил. Я не мог понять, является ли вокзал подходящим местом, где любой бродяга может по ночам просить милостыню, или там могут пожить ночью только бродяги-повара, или любой бродяга, повар или не повар, может там ночью рассчитывать на помощь, сделав на кухне черную работу и получив в качестве платы за труд что-нибудь съестное.

Но вернемся к бродягам, которые проходят ночью. Мне запомнился один, я его встретил в Калифорнии. Он был швед, но так давно жил в Соединенных Штатах, что трудно было угадать его национальность. Он должен был сам говорить об этом. В самом деле, его привезли в Соединенные Штаты, когда он был грудным ребенком. Впервые я с ним столкнулся в горах, в городе Тракки. «Куда направляешься, хобо?» — приветствовали мы друг друга. «На восток», — был ответ, последовавший с обеих сторон. Целая орава отпетых бродяг пыталась в тот вечер уехать из города, и среди этого стада я потерял шведа. Потерял я и поезд.

Добрался я до Рено, в штате Невада, в крытом товарном вагоне, который сразу загнали на запасный путь. Было воскресное утро, и после того, как я раздобыл себе кое-что на завтрак, я пошел в лагерь Пиут посмотреть индейские игры. И там стоял швед, захваченный этим зрелищем. Конечно, мы оба были рады. Он был единственным знакомым, какого я имел во всей округе, а он, кроме меня, тоже никого не знал. Мы бросились друг другу навстречу, как двое отшельников, которым надоело одиночество, и мы провели вместе весь этот день, вместе пустились на поиски обеда и под вечер пытались прыгнуть на один и тот же поезд. Но его сбросили, и я уехал один, чтобы оказаться сброшенным в канаву на пустыре в 20 милях от этого города.

Из всех захолустных мест то, в котором меня сбросили, было самым пустынным. Это была станция, где поезд останавливается только по особому требованию. На станции не было ничего, кроме хибарки, стоявшей прямо на песке среди редкого кустарника. Дул холодный ветер, надвигалась ночь, и единственная живая душа — телеграфист, что жил в этой хибарке,

смертельно меня боялся. Я знал, что не получу от него ни еды, ни крова. Он так меня боялся, что я ему не поверил, когда он сказал, что поезда, идущие на восток, никогда не останавливаются на этой станции. Кроме того, разве пять минут назад меня не сбросили в этом самом месте с поезда, идущего на восток? Он уверял меня, что поезд остановился по специальному требованию и что может пройти целый год, пока остановится следующий. Он сказал, что до Водсворта всего двенадцать или пятнадцать миль и что мне лучше всего добираться туда пешком. Однако я предпочел ждать и имел удовольствие видеть два товарных состава, промчавшихся без остановки на запад, и один — на восток. Не в этом ли поезде ехал швед? Мне ничего не оставалось делать, как отправиться пешком в Водсворт, и я пошел, к великому облегчению телеграфиста, поскольку я отказался от возможности сжечь его хибарку и убить его самого. Телеграфистов вообще есть за что благодарить.

Я прошел не более шести миль, как мне пришлось сойти с пути и пропустить поезд, шедший на восток. Он мчался на полной скорости, но я уловил смутные очертания какой-то фигуры, очень похожей на шведа, в слепом тамбуре первого вагона.

После этого я долго не видел его. Я неплохо провел этот рейс — сотни миль по пустыням Невады, для быстроты путешествовал ночью в пассажирских, а днем отсыпался в товарных вагонах. Было начало года, и на этих высокогорных пастбищах было очень холодно. В долинах осталось еще много снега, а горы были совершенно белые, и по ночам с них дул самый отвратительный из всех ветров на свете. Это был не тот край, где стоило задержаться. И не забывайте, дорогой читатель, бродяга идет по этой земле без крова, без денег, выпрашивая подаяние, чтобы продолжать путь, и ночью спит без одеяла. Такие вещи познаются только на собственном опыте.

Под вечер я прибыл в Огденское депо. Пассажирский поезд Трансконтинентальной Тихоокеанской отходил на восток, и я ломал голову, как быть. За паровозом, среди сплетения стрелок, я увидел бредущую во мраке человеческую фигуру. Это был швед. Мы пожали друг другу руки, как братья после долгой разлуки, и обнаружили, что мы оба в перчатках. «Это у тебя откуда?» — спросил я. «Из паровозной будки, — ответил он. — А у тебя?» «Они принадлежали кочегару, — объяснил я, — он был растяпа».

Мы забрались на слепую площадку почтово-багажного вагона, когда поезд тронулся. Там было страшно холодно. Дорога поднималась по узкому ущелью между покрытыми снегом горами, и мы дрожали и стучали зубами и рассказывали друг другу, как мы прошли это расстояние между Рено и Огденом. Накануне ночью я спал не больше часа, и в почтово-товарном вагоне вздремнуть было трудно. Поезд остановился, и я пошел вперед к паровозу. К нашему составу прицепили второй паровоз, так как поезд поднимался к перевалу.

Я знал, что на предохранительной решетке первого паровоза слишком холодно, потому что он будет пробиваться против ветра, поэтому я выбрал решетку второго паровоза, который шел под прикрытием первого. Я забрался на решетку и обнаружил, что она занята. В темноте я разглядел очертания мальчишеской фигуры. Мальчик крепко спал. Если лечь вплотную друг к другу, на решетке хватит места для двоих, я заставил его потесниться и лег рядом с ним. Это была «хорошая» ночь, тормозные кондукторы нас не беспокоили, и мы моментально уснули. Время от времени я просыпался от сильного толчка или из-за горячей угольной пыли; тогда я еще ближе подвигался к мальчику и дремал под стук колес и всех этих механизмов.

Состав миновал Эванстон, Вайоминг и дальше не пошел. Путь был закрыт: впереди произошло крушение. Принесли мертвого машиниста. Это наглядно свидетельствовало, что путь опасен. Еще был убит какой-то бродяга, но его труп остался на снегу. Я заговорил с мальчиком. Ему было 13 лет. Он убежал от своих родителей где-то в Орегоне и пробирался на восток к бабушке. Его рассказ о жестоком обращении в доме, который он оставил, звучал правдиво, кроме того, ему незачем было лгать мне, бездомному бродяге на дороге.

Этот мальчик страшно спешил. Ему все хотелось ехать скорее. Когда железнодорожные смотрители решили послать состав обратно до развилки по той дороге, по которой он только что прошел, а потом перевести его на Орегонскую ветку и по ней выехать на

Трансконтинентальную Тихоокеанскую выше места крушения, этот паренек снова забрался на решетку и заявил, что он на ней останется. Для шведа и для меня это было уж слишком. Это означало пропутешествовать весь остаток холодной ночи, чтобы выиграть миль двенадцать, не больше. Мы ответили, что будем ждать, пока очистят путь, и тем временем хорошенько отоспимся.

Что ж, устроиться в чужом городе двум измученным людям — нелегкое дело. Полночь, холод, и надо искать место для ночлега. У шведа не было ни пенса. Весь мой капитал состоял из двух монет по десять центов и одной пятицентовой. Городские мальчишки нам рассказали, что пиво здесь стоит пять центов и что бары открыты всю ночь. Это нас устраивало. Два стакана пива обойдутся в десять центов, там будет печь и стулья, и мы проспим до утра. Мы направились к огням салуна, шли быстро, снег поскрипывал под ногами, холодный, порывистый ветер продувал нас насквозь.

Увы, я неправильно понял городских мальчишек. Во всем городе только в одном баре торговали пивом по пять центов, и мы не попали в этот бар. Но тот, в который мы зашли, был хорош. Благословенная печь рокотала, раскаленная докрасна, в баре были уютные кресла с плетеными из камыша сиденьями и не особенно приятного вида хозяин, который с подозрением рассматривал нас с момента нашего появления. Человек не может проводить все дни и ночи в одной и той же одежде — цепляться на поезда, коптиться в тучах сажи и угля, спать где попало — и сохранить приличный «фасад». Наш внешний облик говорил решительно не в нашу пользу, но нам не о чем было волноваться: в кармане у меня были деньги. — Два пива, — сказал я хозяину бесстрастным голосом, и пока он его наливал, мы со шведом облокотились на стойку, втайне мечтая о креслах возле печки.

Хозяин поставил перед нами две пенящихся кружки, а я с гордостью выложил десять центов. Тут моя карта была бита. Как только я увидел, что ошибся в цене, я собирался выудить другую десятицентовую монету. Неважно, что у меня осталось бы только пять центов и я был чужой в чужом городе. Я бы все равно заплатил. Но хозяин не дал мне возможности это сделать. Как только он разглядел, какую я положил монету, он схватил обе кружки и выплеснул их содержимое в отлив за стойкой. При этом, смерив нас злобным взглядом, он заявил: — У вас на носу короста. У вас на носу короста. У вас на носу короста. Смотрите!

Ничего такого не было ни у меня, ни у шведа. Наши носы были в порядке. Прямое значение его слов было для нас совершенно непонятно, но косвенное их значение было ясно, как день: мы ему не понравились, и кружка пива, очевидно, стоила десять центов.

Я порылся в кармане и положил на стойку другую десятицентовую монету, небрежно заметив: — О, я думал, что эти стаканы по пять центов.

— Ваши деньги здесь не помогут, — ответил он, швыряя мне через стойку мои монеты.

Печально опустил я их снова в карман, печально мы шли мимо благословенной печки и кресел и печально вышли за дверь в морозную ночь.

Но когда мы были уже в дверях, хозяин, все еще сверливший нас взглядом, крикнул нам вслед: — У вас на носу короста, смотрите!

С тех пор я многое повидал в мире, путешествовал по диковинным странам, видел разные народы, открывал множество книг, сидел во многих аудиториях, но по сей день, хотя я об этом много и усиленно размышлял, я не в силах понять смысл таинственного высказывания того хозяина в Эванстоне, штат Вайоминг. Наши носы были в полном порядке.

В ту ночь мы спали над котлами в электростанции. Как мы наткнулись на этот «ночлег», я не помню. Мы, должно быть, двигались к нему инстинктивно, как лошади к водопою или почтовые голуби к своей голубятне. Но это была ночь, которую не очень приятно вспоминать. Над котлами еще до нас устроилось человек десять бродяг, и всем там было слишком жарко. В довершение всех наших бед механик не разрешил нам стоять внизу у котлов. Он предоставил нам выбор: или над котлами, или на снегу.

— Вы утверждали, что хотите спать, ну так черт с вами, спите, — заявил он мне, когда, совершенно разбитый и обезумевший от жары, я зашел в котельную.

— Воды, — попросил я, вытирая залитые потом глаза, — воды.

Он указал мне на дверь и заверил, что где-то там в темноте я найду речку. Я отправился к реке, заблудился во тьме, раза два или три падал в сугробы, поднимался и вернулся к котлам замерзший до полусмерти. Когда я оттаял, мне захотелось пить еще больше. Вокруг меня стонали, вздыхали, всхлипывали, охали, задыхались, хрипели, барахтались, метались и тяжело переворачивались с боку на бок в этой нескончаемой попытке бродяги. Мы, заблудшие души, нещадно поджаривались на этой адской сковородке, и механик — олицетворение сатаны — давал нам единственный выход — замерзнуть на улице.

Швед сел и принялся страстно проклинать любовь человека к перемене мест, которая довела его до бродяжничества и тяжелых страданий, вроде этого.

— Когда я вернусь в Чикаго, — клялся он, — поступлю на работу и не брошу ее, пока ад не потрескается от мороза. Тогда я снова пойду бродяжничать.

И — такова ирония судьбы — на следующий день, когда последствия аварии были устранены, мы со шведом выехали из Эванстона в ящиках для льда вагона-холодильника, предназначенного «специально для апельсинов», скорого товарного состава для фруктов из солнечной Калифорнии. Ящики, конечно, были пустые из-за холодной погоды, но от этого они не стали теплее. Мы проникали в них через люки на крышах вагонов, ящики были сделаны из оцинкованного железа, и в такой холод прикоснуться к их стенкам было не очень-то приятно. Мы лежали в ящиках для льда и дрожали, у нас зуб на зуб не попадал. Мы держали совет и решили оставаться в холодильнике день и ночь, пока не проедем район негостеприимного плоскогорья и не спустимся в долину Миссисипи.

Но мы должны были чем-то питаться и решили на следующей остановке вылезти за едой и тут же бежать обратно. Мы прибыли в город Грин Ривер слишком рано для ужина. Время перед едой — это худшие часы для того, чтобы стучаться в кухонные двери, но мы взяли себя в руки и, как только состав подошел к сортировочной, спустились по боковым лесенкам и побежали к домам. Мы сразу направились в разные стороны, но условились встретиться в холодильнике. Вначале мне не везло, но под конец мне насовали в руки всякой всячины, и я помчался к поезду. Он уже тронулся и шел довольно быстро. Тот рефрижератор, в котором мы должны были встретиться, был уже далеко, и я повис на боковой лесенке другого холодильника, на расстоянии шести вагонов от него. Я быстро поднялся на крышу и влез в ящик.

Но проводник из служебного вагона заметил меня и через несколько миль на следующей остановке в Рок Спрингсе он просунул свою голову в мой ящик и крикнул: «Пошел вон, жабий сын! Пошел вон!» Он схватил меня за ноги и выволок из ящика. Я благополучно смотался, и «специальный апельсиновый» вместе со шведом укатил без меня.

Пошел снег. Приближалась холодная ночь. Когда стемнело, я начал рыскать по станционным путям, пока не нашел пустой вагон-рефрижератор. Я влез в него, не в ящик для льда, а прямо в вагон. Я задвинул тяжелые двери, и их края, обшитые резиновыми полосами, надежно закупорили вагон. Стены были толстые. Никакая стужа не могла проникнуть вовнутрь вагона. Но в нем был такой же холод, как и снаружи. Мне предстояло разрешить проблему — как поднять температуру. Но профессиональный бродяга знает свое дело. Я извлек из карманов три или четыре газеты. Я сжег их одну за другой на полу вагона. Дым поднялся к потолку. Все тепло осталось в вагоне, и я чудесно провел ночь: в тепле и с удобствами. Я не просыпался ни разу.

Утром все еще шел снег. Отправившись на поиски завтрака, я прозевал восточный поезд. Днем я дважды садился на поезда, и дважды меня сбрасывали. После полудня на восток не шел ни один поезд. Снег повалил сплошной пеленой, но в сумерках я вскочил на первый почтовый вагон поезда дальнего следования. Когда я прыгал в тамбур, кто-то вскочил туда же с другой стороны. Это был мальчишка, который убежал из Орегона.

Однако поездка в тамбуре первого вагона для перевозки почты в разбушевавшейся снежной буре — не летний пикник. Ветер пронизывает вас насквозь, бьет в стенку вагона и снова набрасывается на вас. На первой остановке, в сгустившейся темноте, я пошел вперед и

представился кочегару. Я предложил подбрасывать уголь до конца его смены, то есть до Роулинса, и мое предложение было принято. Работал я на тендере, на снегу, разбивая лопатой глыбы угля и перетаскивая уголь в паровозную будку. Но так как я не должен был работать все время, я снова и снова входил в будку и грелся.

— Послушай, — сказал я кочегару в первый свой короткий перерыв, — там, в первом тамбуре, маленький парнишка. Он совсем замерз.

Паровозные будки на Трансконтинентальной Тихоокеанской вполне просторны, и мы уложили мальчишку в теплый угол перед высоким стулом кочегара, где мальчик моментально заснул. Мы прибыли в Роулинс в полночь. Снег повалил еще сильнее. Здесь паровоз уходил в депо, а вместо него подавали новый. Как только состав подошел к остановке, я соскочил с паровозной лесенки и плюхнулся в объятия огромного мужчины в огромном пальто. Он начал задавать мне вопросы, а я напрямик спросил у него, кто он такой. Он тут же объяснил мне, что он шериф. Я присмирел, выслушал его и отвечал ему.

Он начал перечислять приметы мальчика, который в это время спал в кабине. Я сразу сообразил, в чем дело. Очевидно, семья напала на след мальчика, и шериф получил телеграфные инструкции из Орегона. Да, я видел этого ребенка. Первый раз я встретил его в Огдене. Дата совпала с теми сведениями, которые имел шериф. Но мальчишка был еще где-то далеко от этих мест, объяснил я, потому что минувшей ночью его сняли с этого самого состава, когда он отходил из Рок Спрингса. И все это время я молил бога, чтобы мальчишка не проснулся, не вылез из будки и не испортил мне все дело.

Шериф оставил меня, чтобы пойти расспросить проводников, но, уходя, сказал:

— Слушай, бродяга, в этом городе тебе нечего делать. Ясно? Ты поезжай на этом поезде дальше и не вздумай задерживаться. Если я поймаю тебя после отхода поезда...

Я заверил его, что попал в его город отнюдь не по собственному желанию, очутился в нем только из-за остановки поезда и что он не должен ломать себе голову над тем, каким образом выкурить меня из его проклятого города.

Как только он пошел разговаривать с проводниками, я вскочил обратно в будку. Мальчик проснулся и протирал глаза. Я рассказал ему, что произошло, и посоветовал ехать на паровозе в депо. Короче говоря, мальчишка уехал на этом самом поезде, на защитной решетке, я велел ему на первой же остановке попросить кочегара, чтобы он пустил его в кабину. Что же касается меня, то меня высадили. Новый кочегар был молод и еще слишком прилежен, чтобы нарушать правила компании, запрещающие пускать на паровоз бродяг, так что он отверг мое предложение подбрасывать уголь. Я надеюсь, мальчишке с ним повезло, потому что в такой буря ночь на решетке означала верную смерть.

Странное дело, я теперь не могу припомнить со всеми подробностями, как меня сбросили в Роулинсе. Помню только, что поезд мгновенно был поглощен снежной бурей, а я отправился на поиски салуна, чтобы согреться. Там были свет и тепло. Дело шло полным ходом. За столами играли в фараон, рулетку, кости, покер, какие-то сумасшедшие погонщики скота веселились. Только я с ними побратался и допил первую стопку за их счет, как тяжелая рука опустилась на мое плечо. Я оглянулся и тяжело вздохнул. Это был шериф.

Не говоря ни слова, он вывел меня на улицу.

— Там в депо стоит «специальный апельсиновый», — сказал он.

— Чертовски холодная ночь, — сказал я.

— Он отойдет через десять минут, — сказал он.

Все. Никаких дискуссий. И когда «специальный апельсиновый» тронулся, я сидел в ящике для льда. Я думал, что к утру отморожу ноги, и последние двадцать миль до Ларами я стоял в люке и танцевал на месте. Снег шел такой густой, что проводники не могли меня заметить, но мне было безразлично, даже если бы они и заметили.

За свои четверть доллара я позавтракал в Ларами и после этого моментально вскочил в тамбур почтового вагона, который взбирался на перевал через основной хребет Скалистых гор. Ехать на открытой площадке почтового вагона днем невозможно, но я надеялся, что проводники не

будут так бессердечны, чтобы высадить меня в эту снежную бурю на вершине Скалистых гор. И они не высадили. У них вошло в правило на каждой остановке идти и посмотреть, замерз я уже или нет.

У монумента Амесу, на вершине Скалистых гор, я не помню, какова их высота, проводник подошел ко мне в последний раз.

— Послушай, бродяга, — сказал он, — видишь, на втором пути стоит товарный поезд, который пропускает наш состав вперед?

Я видел. Он стоял на соседнем пути в шести шагах от меня. Будь он на несколько шагов дальше, в такую метель я бы ничего не мог разглядеть.

— Ну, так в одном из вагонов остатки банды Келли. У них там на полу два фута соломы, и их так много, что в вагоне не холодно.

Это был хороший совет, и я ему последовал, хотя решил, что если проводник задумал сыграть со мной какую-нибудь злую шутку, то я вернусь на свое место, когда тронется его состав. Но все обошлось благополучно. Я нашел вагон — большой вагон-рефрижератор с дверью, которая была широко раскрыта для вентиляции. Я залез туда. Я наступил кому-то на ногу, потом кому-то на руку. В сумеречном свете я ничего не мог разглядеть, кроме запутанного клубка из чьих-то рук, ног и тел. Никогда еще я не видел такого человеческого месива. Все они лежали на соломе, друг на друге, друг под другом, один возле другого. Восемьдесят четыре здоровых бродяги заняли бы все пространство вагона, если бы они разлеглись как следует. Те, на которых я наступил, возмутились. Их тела заходили у меня под ногами, как волны на море, я покачнулся и шагнул вперед. Я не мог найти свободного кусочка соломы, чтобы поставить свою ногу, поэтому я снова наступил на каких-то людей. Негодование возрастало, меня продолжали переталкивать все дальше.

Я потерял равновесие и со всего маху сел. К несчастью, я сел на чью-то голову. Человек этот в ярости приподнялся на четвереньки, и я взлетел на воздух. То, что подбрасывают, должно опуститься, и я опустился на голову другого человека.

Я смутно помню, что произошло потом. Похоже было, что я попал в молотилку.

Меня перебрасывали из одного конца вагона в другой. Эти восемьдесят четыре человека бросали меня до тех пор, пока то небольшое, что от меня осталось, каким-то чудом не нашло клочок соломы, на котором можно было отдохнуть. Я был принят, причем в веселую компанию. Остаток дня мы ехали сквозь бурю и, чтобы убить время, решили, что каждый должен что-нибудь рассказать. Было поставлено условие, что каждая история должна быть интересной и, более того, чтобы ее никто раньше не слышал. Наказанием для неудачника будет молотилка. Неудачников не было. И здесь я должен сразу сказать, что никогда в жизни я не присутствовал на таком грандиозном литературном пиршестве. Здесь было восемьдесят четыре человека со всего света — я был восемьдесят пятым, — и каждый рассказ был шедевром. Он должен был им быть, потому что выбор был таков: либо шедевр, либо молотилка.

Поздно вечером мы прибыли в Шайенн.

Буря достиг предельной силы, и, хотя последний раз мы ели утром, ни один человек не рискнул отправиться на поиски ужина. Всю ночь мы мчались сквозь бурю и утром следующего дня обнаружили, что мы находимся уже среди прелестных равнин Небраски и продолжаем ехать. Горы и буря остались позади. Благодатное солнце сияло над улыбающейся землей, и у нас вот уже сутки ничего не было во рту. Мы выяснили, что наш состав около полудня прибывает в город, который, если я не ошибаюсь, назывался Гранд Айленд.

Мы собрали деньги и послали телеграмму городским властям. Текст телеграммы гласил, что восемьдесят пять здоровых голодных бродяг прибывают в полдень и что было бы неплохо приготовить им заранее обед. У властей Гранд Айленда было два выхода. Они могли накормить нас или бросить в тюрьму. В последнем случае они также должны были нас накормить, и они мудро решили, что один обед обойдется дешевле.

Когда наш поезд в полдень прибыл в Гранд Айленд, мы сидели на крышах вагонов, свесив ноги, и грелись на солнышке. Вся городская полиция была включена в комитет по встрече. Они

нас построили отрядами, и мы маршем отправились в отели и рестораны, где для нас был приготовлен обед. Тридцать шесть часов мы пробыли без пищи, и нас не надо было учить, что делать. После этого мы промаршировали обратно на станцию. Полиция благоразумно задержала поезд до нашего прибытия. Состав медленно тронулся, и восемьдесят пять человек атаковали боковые лестницы. Мы «захватили» поезд.

В тот вечер мы были без ужина, во всяком случае, вся банда, за исключением меня. Как раз когда пришло время ужина и состав отходил от маленького городка, в вагон, где я с тремя бродягами играл в педро, влез человек. Рубашка этого человека подозрительно оттопыривалась. В руке он держал помятую литровую кружку, из которой поднимался пар. До меня дошел аромат «Явы». Я отдал свои карты одному бродяге, который следил за игрой, и извинился перед партнерами. Потом в другом конце вагона, сопровождаемый завистливыми взглядами, я сел рядом с этим человеком и разделил с ним его «Яву» и содержимое пакета, что был спрятан под его сорочкой. Это был швед.

Мы прибыли в Омаху часов в десять вечера.

— Давай поохотимся? — сказал мне швед.

— Конечно, — ответил я.

Когда поезд подходил к Омахе, мы приготовились к высадке. Но население Омахи тоже приготовилось. Мы со шведом повисли на боковых лестницах, готовые к прыжку. Но поезд не остановился. Более того, длинные ряды полисменов, чьи медные пуговицы и звезды поблескивали в электрическом освещении, вытянулись по обеим сторонам пути. Мы со шведом знали, что произойдет, если только мы попадем им в руки. Мы прильнули к лестницам, и поезд помчался по мосту над рекой Миссури к городу Каунсил Блафс.

«Генерал» Келли с двухтысячной армией бродяг разбил лагерь в нескольких милях оттуда, в парке Шатокуа. Наша банда двигалась в арьергарде армии генерала Келли, и, высадившись из поезда в Каунсил Блафс, мы двинулись к лагерю. Ночью похолодало, и от сильного штормового ветра с дождем мы промокли и продрогли. До самого лагеря нас эскортировали и подгоняли многочисленные полицейские. Мы со шведом дождались удобного случая и благополучно улизнули.

Дождь лил как из ведра, и в кромешной тьме, когда не видно собственных рук, как двое слепцов, мы искали укрытия. Нам помог инстинкт, потому что мы сразу наткнулись на салун — не на такой, который был открыт и торговал или который был просто заперт на ночь, и даже не на такой, который имел постоянный адрес, а на салун, который стоял на больших балках с роликами: его перевозили с места на место. Двери были заперты. Шквал ветра и дождя подтолкнул нас. Мы не колебались. Рухнула выбитая дверь, и мы вошли в салун.

Мне в своей жизни приходилось устраиваться на разные ночевки в самых адских условиях: я ночевал в лужах, засыпал в снегу под двумя одеялами, когда спиртовой термометр показывал 74 градуса ниже нуля (что соответствует 106 градусам мороза), но я хочу сказать без обиняков, что у меня никогда не было привала хуже, чем тот, что был у нас со шведом в этом передвижном салуне в Каунсил Блафс.

Это была самая несчастная ночь в моей жизни. Во-первых, постройка, приподнятая над землей, будто висела в воздухе, и в бесчисленные щели в полу задувал ветер. Во-вторых, салун был пуст, не было в нем огненной жидкости, закупоренной в бутылки, которая дала бы нам тепло и помогла бы забыть о наших бедствиях. У нас не было одеял, и в нашей сырой одежде, промокшие до мозга костей, мы пытались уснуть. Я свернулся в комок под стойкой. Швед скорчился под столом. Ветер из щелей и дыр не дал нам сомкнуть глаз, и через полчаса я полез на стойку. Немного погодя швед взобрался на стол.

Так мы дрожали и молили бога, чтобы скорее настало утро. Я только одно знаю: я дрожал до тех пор, пока уже дрожать не было сил. Осталась только резкая, ноющая боль. Швед охал и стонал, и все время шептал, стуча зубами: «Никогда, никогда». Он повторял эту фразу без конца, повторял ее тысячу раз, и, когда задремал, он продолжал повторять ее во сне.

Лишь только забрезжило утро, мы покинули нашу обитель страданий и попали в туман, изморозь и стужу. Мы брели, пока не наткнулись на железнодорожную линию. Я решил ехать обратно в Омаху, чтобы стрелнуть себе завтрак, мой спутник собирался в Чикаго. Настало время прощаться. Мы протянули друг другу онемевшие руки. Мы дрожали. У нас так стучали зубы, что мы не могли сказать ни слова. Мы были одни, отрезанные от всего мира, мы ничего не могли разглядеть, кроме небольшого участка пути, оба конца которого исчезали в тумане. Мы молча глядели друг на друга, сочувственно пожимая руки. Лицо шведа было синим от холода, и я знал, что выглядел так же.

— Что никогда? — с трудом произнес я.

Слова застряли в горле у шведа, потом откуда-то из глубины его заледеневшего сердца раздались еле слышные звуки:

— Никогда не буду бродягой.

Он помолчал, а когда снова заговорил, его голос, обретая уверенность, становился все громче и сильнее.

— Никогда не буду бродягой. Пойду работать. Тебе бы лучше сделать то же самое. Такие ночи, как эта, приводят к ревматизму.

Он пожал мою руку.

— Прощай, друг, — сказал он.

— Прощай, друг, — сказал я.

Нас сразу же разъединила мгла. Таково было наше последнее прощание. Но это написано для вас, мистер швед, где бы вы ни находились. Я надеюсь, что вы устроились на работу.

Бездомные мальчишки и бродячие коты

Время от времени в газетах, журналах и биографических словарях мне попадаются очерки о моей жизни, из которых я, если можно так выразиться, узнаю, что я стал бродягой ради того, чтобы изучить социологию. Это очень мило и внимательно со стороны биографов, но это неверно. Я стал бродягой, — что ж, этого требовала моя натура, в моей крови была жажда скитаний, которая никогда не давала мне покоя. Социология пришла потом, она была следствием, а не причиной, так же, как мокрая кожа является следствием купания. Я вышел на Дорогу, потому что я не мог иначе, потому что у меня в кармане не было денег на билет, потому что я был так устроен, что не мог всю жизнь «работать в одной смене», потому что — словом, потому, что легче было это сделать, чем не делать.

Это случилось в моем родном городе Окленде, когда мне было шестнадцать лет. К этому времени у меня была сногшибательная репутация в избранном кругу авантюристов, которые дали мне кличку «Принц устричных пиратов». Правда, за пределами этого круга честные матросы, работавшие в бухте, портовые грузчики, лодочники и законные владельцы устриц называли меня головорезом, хулиганом, бандитом, вором, грабителем и всевозможными другими не совсем лестными словами, но все они звучали для меня как комплименты, они только подчеркивали головокружительную высоту моего положения.

В ту пору я еще не читал «Потерянный рай», и позже, когда я прочитал у Мильтона⁶ слова: «лучше править в аду, чем прислуживать на небесах», я окончательно убедился, что мысли великих умов текут по одному руслу.

⁶ Мильтон, Джон (1608 — 1674) — великий английский поэт и публицист, участник английской буржуазной революции XVII в. Поэмы «Потерянный рай» (1667) и «Возвращенный рай» (1671) — лучшие произведения поэта.

Именно в это время случайное сцепление обстоятельств привело меня к моему первому приключению на Дороге. Случилось так, что устричное дело в тот период замерло, что в Бенишии, в сорока милях от Окленда, для меня были приготовлены одеяла, которые я хотел забрать, а в нескольких милях от Бенишии, в Порт-Коста, под охраной констебля стояла на якоре украденная лодка. Так эта вот лодка принадлежала моему другу Динни Мак-Кри. А украл ее и оставил в Порт-Коста другой мой друг, Виски Боб (бедный Виски Боб! Прошлой зимой его тело было выброшено на берег, сплошь продырявленное пулями, и убийцу так и не нашли). Я как раз вернулся с верховьев реки и сообщил Динни Мак-Кри, где находится его лодка. Динни Мак-Кри сразу предложил мне десять долларов, если я доставлю ее в Окленд.

Времени у меня было сколько угодно. Мы сидели на пристани и толковали с Никки-Греком, еще одним бездельничающим устричным пиратом. «Давай поедем!» — сказал я, и Никки охотно согласился. Он был на мели. Я обладал пятьюдесятью центами и маленькой лодчонкой. Деньги я вложил в дело и истратил на продукты, которые и погрузил в лодку: я купил крекер, мясные консервы и десятицентовую банку французской горчицы (мы тогда очень увлекались французской горчицей). Затем ближе к вечеру мы подняли свой маленький шпринтов-парус и легли на курс. Мы шли всю ночь, и на следующее утро, на первой волне отличного прилива, подгоняемые веселым попутным ветром, мы понеслись вверх по Каркинезскому проливу к Порт-Коста. Там футах в двадцати пяти от пристани стояла украденная лодка. Мы встали рядом с ней, быстро спустили большой парус. Я послал Никки поднять на лодке якорь, а сам начал спускать малый парус.

На пристань выскочил человек и окликнул нас. Это был констебль. И тут я вдруг сообразил, что не удосужился взять у Динни Мак-Кри письменное разрешение на то, чтобы забрать его лодку. Кроме того, я знал, что констебль захочет получить не меньше двадцати пяти долларов за то, что он отобрал эту лодку у Виски Боба и потом стерег ее. А мои последние пятьдесят центов вылетели на мясные консервы и французскую горчицу, да и все мое вознаграждение составляло десять долларов. Я взглянул на Никки. Он изо всех сил тянул якорную цепь, а та не поддавалась.

— Тащи скорее! — зашипел я на Никки, повернулся к констеблю и прокричал ему что-то в ответ.

Мы с констеблем говорили одновременно, наши высказанные вслух мысли сталкивались в воздухе, и получалась какая-то тарабарщина.

Голос констебля становился все более властным, и волей-неволей мне пришлось его слушать. Никки тащил якорную цепь с таким напряжением, что я подумал, как бы у него не полопались жилы. Когда констебль покончил со своими угрозами и предупреждениями, я спросил у него, кто он такой. Время, которое он потратил на ответ, дало возможность Никки поднять якорь. Я быстро сделал кое-какие вычисления. У ног констебля начиналась лестница, которая вела прямо к воде. К этой лестнице была привязана шлюпка. В ней были весла. Но цепь от лодки была на замке. От этого замка зависел успех всей игры. В лицо мне дул бриз, я видел высокую воду прилива, глянул на частично свернутый малый парус, мой взгляд пробежал от фалов к блокам, и я понял, что все готово. Я перестал притворяться.

— Отчаливай! — крикнул я Никки и прыгнул к сезеню. Я опустил нижний край паруса, благословляя судьбу, что Виски Боб завязал сезень не морским, а простым узлом.

Констебль кинулся вниз по лестнице и замешкался с замком. Якорь был поднят, и последний парус был поставлен в то самое мгновение, когда констебль освободил лодку и прыгнул к веслам.

— Дирик-фал! — скомандовал я своему экипажу, одновременно разворачивая гафель.

Парус пошел вверх. Я закрепил снасти и бросился на корму к румпелю.

— Так держать! — крикнул я Никки.

Констебль как раз поравнялся с нашей кормой. Порыв ветра подхватил нас, и мы понеслись. Это было здорово. Если бы у меня был черный флаг, я бы поднял его в знак торжества.

Констебль стоял в своей лодке и осквернял великолепие дня отборнейшей бранью. Он проклинал себя за то, что не захватил с собой оружия. Как видите, нам и здесь повезло. Во всяком случае, мы не крали этой шхуны. Она не принадлежала констеблю. Мы только лишили его вознаграждения, которое для него было особой формой взятки. И вознаграждение это мы украли не для себя, а для моего друга Динни Мак-Кри.

Через несколько минут мы уже были в Бенишин, а еще через несколько минут мои одеяла были на борту. Я повернул лодку к дальнему концу пароходной пристани. Этот наблюдательный пункт имел одно преимущество: мы видели всех, кто входил в гавань. Все было ясно без слов. Ведь могло случиться, что констебль из Порт-Коста позвонил констеблю в Бенишию. У нас с Никки состоялся военный совет. Мы лежали на палубе под теплыми лучами солнца, свежий бриз дул нам в лицо, волны прилива с журчанием и плеском набегали на берег. Идти к Окленду можно было только после полудня, когда начнется отлив. Но мы знали, что в это время констебль будет следить за Каркинезским проливом и что нам остается только одно: ждать следующего отлива в два часа ночи, когда мы сможем проскользнуть в темноте мимо цербера. Так мы и лежали на палубе, покуривая сигареты и радуясь тому, что живы. Я перегнулся за борт, чтобы определить скорость течения.

— При таком ветре с этим приливом можно дойти до Рио-Виста, — сказал я.

— На реке самый разгар фруктового сезона, — сказал Никки.

— И низкая вода, — сказал я. — Это — лучшее время года для поездки в Сакраменто.

Мы сели и посмотрели друг на друга. Чудесный западный ветер опьянял нас, как вино. Мы одновременно перегнулись через корму, чтобы посмотреть, каково течение. Теперь я убежден, что всему виной были прилив и попутный ветер. Они пробудили в нас морские инстинкты. Если бы не они, не было бы всей цепи событий, которые привели меня на Дорогу.

Мы поняли друг друга без слов. Снялись с якоря и подняли паруса. Наши приключения на реке Сакраменто заслуживают особого повествования, здесь я не буду о них распространяться. Мы прибыли в город Сакраменто и пришвартовались у пристани. Вода была отличная, и большую часть времени мы купались. На песчаной косе чуть повыше железнодорожного моста мы очутились среди целой компании купающихся мальчишек. В перерывах между купаниями мы лежали на песке и разговаривали. Они говорили совсем не так, как мальчики, с которыми я раньше общался. Это был новый жаргон. Это были бездомные мальчишки, дети Дороги, и каждое произнесенное ими слово усиливало мое влечение к Дороге. Это влечение все более и более овладевало мной.

То вдруг один из них начинал: «Когда я был в Алабаме», или другой: «Когда я ехал из Канзас-Сити по Чикаго-Альтонской», на что третий паренек отвечал: «О, на Чикаго-Альтонской нет лесенок к слепым площадкам!» А я все лежал на песке и слушал. «Это было в небольшом городке в Огайо на озере Шор, на Южно-Мичиганской ветке», — начинал мальчишка, а другой продолжал: «А ты когда-нибудь ездил на „пушечном ядре“ по Уобашу?», и кто-нибудь продолжал: «Нет, но я выезжал на белом почтовом из Чикаго», «Пока не побываешь в Пенсильвании, не заикайся о железных дорогах: четыре колеи, никаких водокачек, воду набирают на ходу, вот это штука!», «А Северная тихоокеанская теперь стала дрянной дорогой», «Салинас начеку, „быки“ такие, что лучше не подступайся», «Меня сцапали в Эль Пазо вместе с Моук-Кидом», «Прежде чем рассказывать нам, что такое „стрельнуть“, ты сначала поброди вокруг Монреаля, где живут французы, — по-английски никто ни слова, ты говоришь: „Манже, мадам, манже, ноу спик де френч“, и трешь свое пузо, и показываешь ей, что подыхаешь с голоду, а она тебе сует кусок свиной требухи и ломоть сухого хлеба».

А я все лежал на песке и слушал. В присутствии этих бродяг мое устричное пиратство превращалось в пустяковое занятие. Каждое их слово звучало в моих ушах как призыв нового мира — мира вагонных тележек и буферов, «слепых» тамбуров и «пульмановских вагонов с боковым затвором», «быков» и кондукторов, мира, где «влипают» и «смываются», где есть мертвая хватка и бродяги, желторотые и забубенные. И от всего этого веяло приключениями. Прекрасно, я вступлю в этот новый мир. Я поставил себя в один ряд с этими бездомными

мальчишками. Я ведь был таким же крепышом, как любой из них, таким же быстрым, таким же самоуверенным, и сообразительности у меня было не меньше, чем у них.

После купания, когда наступил вечер, они оделись и пошли к городу. Я пошел с ними. Мальчишки начали закидывать удочку за монетки на прямой, иными словами, попрошайничали на главной улице. Я ни разу в жизни не просил подаяния, и это оказалось для меня самым трудным делом, когда я впервые вступил на Дорогу. У меня были совершенно нелепые представления о попрошайничестве. Моя философия в ту пору сводилась к тому, что лучше украсть, чем просить милостыню, и что грабеж еще лучше, потому что риск и возмездие соответственно больше. Если бы я отбыл положенный мне за устричное пиратство срок заключения, мне бы пришлось сидеть не меньше тысячи лет. Грабить — это по-мужски, побираться — презренно и убого. Но со временем я стал умнее, все утряслось, когда я начал смотреть на попрошайничество как на веселую проделку, игру ума, упражнение для нервной системы.

Как бы то ни было, в ту первую ночь я еще до этого не поднялся, в результате чего, когда парни собрались идти в ресторан, я не пошел. Я был без гроша. Минни-Кид, кажется, это был он, дал мне денег, и мы поужинали все вместе. Но во время еды я продолжал размышлять. Говорят, тот, кто принимает краденое, сам не лучше вора. Минни-Кид клянчил милостыню, а я пользуюсь ею. Я пришел к выводу, что принимающий краденое хуже вора и что больше это никогда не повторится. И это не повторилось. На следующий день я вышел вместе с ними и не отставал от других в попрошайничестве.

У Никки-Грека не хватило честолюбия пойти на Дорогу. Он не умел попрошайничать, и однажды ночью он удрал на барже вниз по реке к Сан-Франциско. Я встретил его как раз неделю назад на боксе. Он преуспевает. Он сидел у ринга на почетном месте. Он стал антрепренером крупных боксеров и очень этим гордится. В общем, среди местных спортсменов в этом маленьком мирке он стал вполне заметным светилом.

Парень не бродяга, пока он не побывает за холмом, — таков был закон Дороги, который мне растолковали в Сакраменто. Ладно, я переберусь через холм и буду принят в это общество. Кстати, «холм» — это Сиерра-Невада. Вся банда собиралась отправиться в турне через холм, и я, разумеется, к ним присоединился. Для Кида-Француза это тоже было первое крещение. Он только что удрал от родителей из Сан-Франциско. Мне и ему нужно было показать себя. Замечу мимоходом, что мой старый титул «Принца» исчез. Я получил другую кличку. Теперь я стал «Кидом-Моряком», позднее, когда между мной и моим родным штатом пролегли Скалистые горы, я превратился во Фриско-Кида.

В десять часов двадцать минут вечера от станции Сакраменто Трансконтинентальной Тихоокеанской железной дороги отошел поезд на восток — этот пункт расписания неизгладимо врезался в мою память. В нашей компании было человек десять, и мы выстроились вдоль линии впереди поезда, готовые к штурму. Все местные босяки, каких мы знали, явились поглазеть на наш отъезд и «сбросить нас в канаву», если это им удастся. В их представлении это была милая шутка, и чтобы претворить ее в жизнь, их собралось человек сорок. Возглавлял эту компанию опытный дорожный бродяга Боб. Он был родом из Сакраменто, но исколесил всю страну вдоль и поперек. Отведя в сторону меня и Кида-Француза, он дал нам приблизительно такой совет: «Мы собираемся спустить в канаву всю вашу банду. Вы оба еще не сильны, а остальные могут сами о себе позаботиться. Так что, как только прицепитесь к слепому вагону, полезайте на крышу. И лежите там, пока не проедете Роузвиль, потому что там такие свирепые констебли, что хватают всех, кто попадаетея им на глаза».

Паровоз свистнул, и поезд тронулся. В нем было три слепых багажных вагона, то есть достаточно места для нас всех. Наша десятка предпочла бы сесть на поезд без лишнего шума, но сорок провожающих вскакивали в вагоны с наглой демонстративностью, устраивали невообразимый шум. Следуя совету Боба, я сразу же залез на крышу одного из почтово-багажных вагонов и оттуда с замиранием сердца следил за происходившей внизу баталией и

прислушивался ко всей этой катавасии. Вся поездная бригада была на ногах, яростно и поспешно сбрасывая с вагонов нашего брата. Пройдя полмили, поезд остановился. Снова явилась бригада и сбросила в канаву уцелевших. Я, один я остался на поезде.

Позади у депо лежал без обеих ног Кид-Француз, возле него стояли два или три приятеля из шайки, которые видели, как все это произошло. Кид-Француз не то споткнулся, не то поскользнулся, и все остальное сделали колеса. Это было мое посвящение. Теперь я принадлежал Дороге. Года два спустя я встретился с Кидом-Французом и осмотрел его культяпки. Это был акт вежливости. Калеки страшно любят показывать свои обрубки. Встреча двух калек на Дороге — одно из самых любопытных зрелищ. Их общее несчастье является для них неисчерпаемой темой разговоров, и они подробно рассказывают, как это случилось, описывают все, что им известно об ампутации, отпускают критические замечания о своем собственном и о других хирургах и обязательно отходят в сторону, снимают бинты и повязки и сравнивают свои обрубки.

Но я узнал о несчастье Кида-Француза только через несколько дней, когда шайка догнала меня в Неваде. Шайка тоже пострадала. Во время снежного бурана она попала в крушение.

Счастливчик Джо ходил на костылях — ему раздробило обе ноги, — а все остальные получили раны и ушибы.

А я во время всех этих несчастий лежал на крыше багажного вагона, стараясь вспомнить, первой или второй остановкой будет станция Роузвиль. Это была станция, о которой меня предупреждал Боб, и, чтобы не ошибиться, я решил не спускаться на платформу, пока не проеду вторую остановку. Однако я не спустился и после нее. Я был новичком в этой игре, и я чувствовал себя в большей безопасности на крыше. Однако своим товарищам я не сказал, что пробыл на крыше всю ночь, когда поезд шел через туннели и снежные перевалы Сиерры, и что я спустился на платформу только в семь часов утра уже по ту сторону гор. Подобное поведение позорно, я бы стал всеобщим посмешищем. Я только теперь впервые рассказываю о своем первом путешествии через горы. Моя компания решила, что я парень подходящий, и, когда я снова пересек горы и вернулся в Сакраменто, я был уже вполне оперившимся дорожным птенцом, бездомным мальчишкой.

Однако мне еще многому нужно было научиться. Моим ментором был Боб, и он отлично справлялся с этой ролью. Мне запомнился один вечер (в Сакраменто как раз была ярмарка, и мы слонялись по городу, весело проводя время), когда я в драке потерял шапку. Мне пришлось бы ходить по городу с непокрытой головой, но Боб пришел на помощь. Он отвел меня в сторону и объяснил, что нужно делать. Его совет немного испугал меня. Я только что вышел из тюрьмы, где провел три дня, и отлично понимал, что, если меня снова сцапает полиция, мне здорово достанется. Но, с другой стороны, нельзя было показать, что я струсил. Я уже побывал за холмом, меня считали своим в этой компании, и я должен был доказать, что я это заслужил. Словом, я принял совет Боба, и он отправился вместе со мной, чтобы проследить, как я справлюсь с этим делом.

Мы заняли позицию на углу Пятой улицы, если мне не изменяет память. Дело было к вечеру, и улица была полна народом. Боб стал внимательно разглядывать головные уборы каждого проходившего мимо нас китайца. Я все удивлялся, откуда у бездомных мальчишек новые пятидолларовые стэтсонские шляпы, а теперь я понял, в чем дело. Они доставали их у китайцев тем же способом, каким я сам собирался это сделать. Я нервничал: на улице было слишком много народу, но Боб был спокоен, как айсберг. Несколько раз, когда я, взвинченный и решительный, направлялся к какому-либо китайцу. Боб возвращал меня на место. Он хотел, чтобы я достал хорошую шляпу и чтобы она подошла мне по размеру. То появлялась шляпа нужного размера, но не новая, а после того, как проходил мимо десятков совершенно непригодных шляп, нам попадалась на глаза новая, но не того размера. И когда проходила шляпа и новая и подходящего размера, то поля ее были или слишком широкими, или слишком узкими. Мой бог, Боб привередничал! Все это меня так измотало, что я готов был схватить любую шляпу.

Наконец появилась подходящая шляпа — для меня это была единственная шляпа во всем Сакраменто. Как только я взглянул на нее, я понял: это то, что нужно. Я посмотрел на Боба. Он оглянулся, нет ли поблизости полиции, затем кивнул мне. Я снял шляпу с китайца и надел на собственную голову. Она идеально подошла мне по размеру. Тогда я побежал. Я слышал, как Боб что-то закричал, и, оглянувшись, увидел, что Боб сначала удерживал рассвирепевшего монгола, а потом подставил ему ногу. Я бежал. Я повернул за угол, потом снова повернул за угол. Эта улица была не так многолюдна, как другие, и я спокойно пошел шагом, стараясь отдышаться, и поздравил себя со шляпой и с удачным побегом.

И вдруг сзади из-за угла неожиданно выскочил китаец без шляпы. За ним по пятам бежала еще целая куча китайцев и с полдюжину мужчин и мальчишек. Я снова шмыгнул за угол, пересек улицу и еще раз свернул за угол. Я был уверен, что на этот раз перехитрил его, и опять пошел спокойно. Но настырный монгол снова выскочил из-за угла. Повторялась сказка о зайце и черепахе. Он не мог бежать так же быстро, как я, но зато он бежал, не сбавляя скорости, и его неуклюжая рысца придавала его бегу кажущуюся медлительность. От непрерывных ругательств он еще больше задыхался. Он призывал весь Сакраменто в свидетели своего несчастья, и добрая часть Сакраменто услышала его и бросилась за ним следом. Я бежал, как заяц, и все-таки этот настырный монгол со своей все увеличивающейся толпой настигал меня. Но в конце концов, когда к числу его последователей присоединился полицейский, я пустился бежать во весь дух. Я мчался зигзагами, сворачивал в переулки и, клянусь, на этот раз пробежал по крайней мере десятка два кварталов. Китайца я больше никогда не видел, моя щегольская шляпа, совершенно новый стэтсон, только что из магазина, была предметом зависти всей нашей компании.

«Бездомные мальчишки» — славные парни, но только, когда они одни и когда они рассказывают вам, «как это случилось». Но, поверьте моему слову, их надо остерегаться, когда они ходят стаей. Тогда они превращаются в волков и могут, подобно волкам, повалить и растерзать самого сильного человека. В такие минуты они не знают страха. Они бросаются на человека, наваливаются на него всей силой своих жилистых тел, пока он не падает. Я не раз наблюдал это и знаю, что говорю. У них обычно одна цель — грабеж. И особенно опасайтесь «мертвой хватки». Все мальчишки, с которыми мне приходилось путешествовать, владели этим приемом в совершенстве. Даже Кид-Француз успел этому научиться до того, как ему отрезало ноги.

Особенно ярко запечатлелась в моей памяти одна сцена в «Ивах». Ивы — это купа деревьев на пустыре близ железнодорожного депо и всего в нескольких минутах ходьбы от центра Сакраменто. Ночь, сцена освещена тусклым мерцанием звезд. Я вижу, как огромный детина-рабочий отбивается от целой стаи «бездомных мальчишек», окруживших его. Он злится, ругается, но не испытывает никакого страха, так он уверен в своих силах. Он весит около ста восьмидесяти фунтов, у него литые мускулы, но он не знает, с кем имеет дело. Мальчишки наскокивают на него. Это весьма неприятно. Они нападают со всех сторон, и он вертится на месте и размахивает руками. Рядом со мной стоит Кид-Парикмахер. Когда мужчина отворачивается, Кид-Парикмахер бросается вперед и пускает в ход испытанный прием. Он упирается коленом в спину человека, сзади обхватывает правой рукой его шею, крепко надавливая кистью руки на сонную артерию. Кид-Парикмахер всем телом откидывается назад. Этот прием действует безотказно. Особенно потому, что у человека остановлено дыхание. Это и есть «мертвая хватка».

Мужчина не сдается, но практически он уже беспомощен. Бездомные мальчишки хватают его со всех сторон, виснут на его руках, ногах, а Кид-Парикмахер не отпускает и тянет назад, как волк, схвативший за горло лося. Под грудой тел человек падает навзничь. Кид-Парикмахер выскальзывает из-под него, но по-прежнему держит его за горло. Пока одни ребята обыскивают жертву, другие наваливаются ему на ноги, так что он не может сбросить их или ударить. Пользуясь случаем, они стаскивают с человека башмаки. Он сдается. Он побежден. К тому же рука прижимает его сонную артерию, и он задыхается. Страшный хрип вырывается из его

горла, и ребята спешат. Они и в самом деле не хотят, чтобы он умер. Дело сделано. По команде все мигом оставляют жертву и бросаются врассыпную. Один тащит башмаки, он знает, где ему дадут за них полдоллара. Человек садится и беспомощно, изумленно озирается. Даже если бы у него было желание бежать за ними в темноте, он не мог бы их догнать босиком. На мгновение я останавливаюсь и наблюдаю за ним. Он прикасается рукой к горлу, откашливается и как-то странно вытягивает шею, будто хочет убедиться, цела ли она. Потом я догоняю свою компанию. Этого человека я никогда больше не видел, хотя он навсегда остался у меня перед глазами — освещенный слабым мерцанием звезд, сидящий в каком-то изумлении, испуге, страшно взъерошенный, и голова его как-то странно, конвульсивно вытягивалась.

Пьяные — особая статья доходов «бездомных мальчишек». Грабить пьяницу называется у них «качать обрубок», и где бы ребята ни находились, они постоянно выискивают пьяных. Как муха — добыча паука, так и пьяные — добыча специально для них. Ограбление пьяного — подчас довольно забавное зрелище, особенно если пьяный невменяем и нет опасности, что кто-нибудь может помешать. При первом натиске исчезают деньги и ценности пьяницы. После этого ребята усаживаются вокруг пьяного, словно на конференции. Одному из них понравился галстук пьянчуги — галстук моментально снимают. Другому нужно белье. Белье снимают и ножом отрезают слишком длинные рукава и штанины. Если куртка и штаны слишком велики для мальчишек, их отдают знакомым бродягам. В конце концов все исчезает, оставив возле пьянчуги кучу сброшенных с себя лохмотьев.

Еще одна картина возникает перед моими глазами. Темная ночь. Моя шайка идет вдоль тротуара на окраине города. Впереди нас под фонарем человек переходит на другую сторону улицы. В его походке нет уверенности и четкости. Ребята издали почуяли добычу. Человек пьян. Он бредет по противоположному тротуару и исчезает в темноте, свернув на пустырь. Ни одного воинственного клича, но вся компания бросается по его следам. В середине пустыря она настигает пьяного. Маленькие, угрожающе рычащие фигурки возникают между шайкой и ее добычей. Это другая стая «бездомных мальчишек». Наступает напряженная пауза, мы узнаем, что это их добыча, они преследуют ее больше десяти кварталов, и нам здесь делать нечего. Но мы живем в первобытном мире. Перед нами не волки, а волчата. (На самом деле ни одному из них не было больше двенадцати-тринадцати лет. Потом я встречал кое-кого из них и узнал, что в тот день они только что вернулись из-за холма и что родом они были из Дэнвера и из Солт-Лейк-Сити.) Наша стая бросается вперед. Волчата визжат, царапаются и дерутся, как чертенята. Вокруг пьяного идет борьба за обладание им. В разгаре битвы он падает на землю, и борьба продолжается, подобно тому, как греки и троянцы дрались над поверженным воином, отвоевывая тело и доспехи сраженного героя. С криками, с визгом и со слезами волчата отогнаны, и пьяного обирает наша стая. Но я никогда не забуду несчастного забулдыгу и его недоумение: почему вдруг разразилась баталия на заброшенном пустыре. Я вижу его, едва различимого во мраке, заикающегося от изумления. Он добродушно старался взять на себя роль миротворца в этой всеобщей свалке, абсолютно не понимал, в чем смысл драки, и искренне обиделся, когда он, ни в чем не повинный человек, был схвачен множеством рук и под давлением кучи тел опрокинут на землю.

Самая любимая добыча «бездомных мальчишек» — «грузные узлы». Грузным узлом называется работающий бродяга. Название свое он получил от узла, что носит с собой. В узле — скатанное одеяло. Так как он работает, то всегда можно рассчитывать, что у него есть в кармане кое-какая мелочь, за этой-то мелочью и охотятся бездомные мальчишки. За грузным узлом лучше всего охотиться в сараях, в конюшнях, на дровяных складах, в железнодорожных депо и тому подобных местах на окраинах города, а лучшее время для охоты — ночь, потому что грузный узел приходит в эти места на ночь, чтобы развязать здесь свое одеяло и уснуть. «Веселые коты» тоже нередко страдают от бездомных мальчишек. Попросту говоря, веселые коты — это новички, чечако, вновь прибывшие, новое пополнение. Веселый кот — это новенький на Дороге, но по летам совершенно взрослый мужчина или юноша. С другой стороны, мальчик на Дороге, даже если он зеленый новичок, никогда не будет веселым котом,

он бездомный мальчишка или «босьяк», а если он путешествует с каким-нибудь «профессионалом», он получает звание ученика.

Я никогда не был учеником бродяги, мне это было неприятно. Сначала я был бездомным мальчишкой, а потом сразу стал профессионалом. Так как я начал молодым, то фактически перескочил через годы ученичества. Когда я менял свою юношескую кличку «Фриско-Кид» на кличку полноправного взрослого бродяги — «Джек-Матрос», меня заподозрили в том, что я веселый кот. Однако когда те, которые заподозрили меня в этом, поближе со мной познакомились, они поняли, что ошиблись, и я в кратчайший срок приобрел манеры и повадки настоящего профессионала. И да будет известно отныне и навеки, что профессионалы — это аристократия Дороги. Они господа и владыки, предприимчивые люди, истинные аристократы, белокурые бестии, которых так любил Ницше.

Когда я возвратился из Невады в Сакраменто, я обнаружил, что какой-то речной пират украл оставленную мной шхуну Динни Мак-Кри. (Как это ни странно, я не могу вспомнить, куда девалась лодчонка, на которой мы с Никки-Греком отправились в Порт-Коста. Мне известно, что констеблю она не досталась, что мы не взяли ее с собой в Сакраменто — это мне тоже известно, а больше я ничего о ней не знаю.) С утратой лодки Динни Мак-Кри мне оставалось только одно — идти на Дорогу. А когда мне надоело Сакраменто, я распрощался с нашей компанией (из дружеских чувств они сделали все, что было в их силах, чтобы меня сбросили в канаву с товарного поезда, на котором я уезжал из города) и пустился в путь в долину Сан-Хоакин. Дорога захватила меня и больше не отпускала, и впоследствии, когда я избородил все моря, принимался то за одно, то за другое дело, я возвращался на Дорогу на более длительное время, чтобы прослыть «кометой» и профессионалом, чтобы окунуться в социологические проблемы и пропитаться ими до мозга костей.

Две тысячи бродяг

Хобо — это бродяга.

Однажды по прихоти судьбы я несколько недель скитался с бандой в две тысячи хобо. Она была известна как «Армия Келли». По всему дикому Западу, от самой Калифорнии, генерал Келли и его герои захватывали поезда, но их разбили, когда они переправились через Миссури и двинулись на цивилизованный Восток. Восток не имел ни малейшего желания предоставлять свободу передвижения двум тысячам босьяков. «Армия Келли» некоторое время беспомощно сидела в Каунсил Блафс. В день, когда я к ней присоединился, доведенная до отчаяния вынужденной задержкой, она двинулась маршем захватывать поезд.

Это было внушительное зрелище. Генерал Келли восседал на великолепном черном боевом коне, и с развевающимися знаменами, под звуки военного марша, исполняемого соединением флейтистов и барабанщиков, отряд за отрядом, двумя дивизиями, две тысячи хобо маршировали перед ним и двинулись по проселочной дороге к небольшому городку Уэстону, в семи милях от Каунсил Блафс. Будучи последним рекрутом, я попал в последнее отделение последнего полка Второй дивизии и, мало того, в последний ряд арьергарда. Армия разбила лагерь в Уэстоне у железнодорожной линии, вернее, у железнодорожных линий, потому что там пересекались две дороги: Чикаго — Милоуоки — Сент-Пол и дорога на Рок-Айленд. Мы намеревались взять первый же поезд, но железнодорожные власти разгадали наш план и вышли победителями из игры. Первого поезда не было. Они перекрыли обе дороги и остановили движение. Тем временем, пока мы лежали у замерших путей, добрые люди в Омахе и Каунсил Блафс энергично взялись за дело. Были приняты меры, чтобы организовать толпу, захватить в Каунсил Блафс поезд, подвести этот поезд и подарить его нам. Железнодорожные власти сорвали и этот план. Они не стали ждать, пока соберется толпа. На рассвете следующего

дня паровоз с одним вагоном первого класса прибыл на станцию и остановился на запасном пути. При этом признаке возрождения жизни на мертвых путях вся армия вытянулась вдоль линии.

Но никогда еще жизнь на мертвом пути не возрождалась так чудовищно, как на этих двух дорогах. С запада донесся свист локомотива. Он шел к нам, на восток. Нам тоже надо было на восток. Наши ряды заволновались, готовясь к посадке. Прозвучал неистовый гудок, и поезд прогрохотал мимо на полной скорости. Еще не родился тот бродяга, который бы мог на него вскочить. Засвистел другой локомотив, и другой поезд промчался на полной скорости, и еще, и еще, поезд за поездом, поезд за поездом, пока под конец не пошли поезда, составленные из пассажирских, крытых товарных, из платформ, вышедших из строя, из мертвых паровозов, тормозных вагонов, почтовых, поломанных вагонов-лабораторий и всего прочего хлама — изношенного лома на колесах, который скопляется в депо больших станций. Когда депо Каунсил Блафс совершенно опустело, паровоз с вагоном первого класса ушел на восток, и пути опять замерли.

Прошел день и еще один день, но ничего не изменилось, а между тем, исхлестанные мелкими льдинками, мокрым снегом и дождем две тысячи бродяг лежали у дороги. Но в ту ночь добрые люди из Каунсил Блафс перехитрили железнодорожных чиновников. Толпа, организованная в Каунсил Блафс, пересекла реку и отправилась в Омаху, там соединилась с другой толпой, направлявшейся к депо Тихоокеанской железной дороги. Вначале они захватили паровоз, затем сколотили поезд, погрузились на него, пересекли Миссури и двинулись по Рок-Айлендской ветке, чтобы предоставить поезд в наше распоряжение. Железнодорожные чиновники пытались сорвать этот план, но это им не удалось, к великому ужасу начальника участка пути и одного члена бригады в Уэстоне. Эта парочка по секретному телеграфному приказу пыталась пустить под откос поезд с нашими доброжелателями. Случилось так, что мы заподозрили что-то неладное и выставили патрули. Пойманные на месте преступления, когда они разводили рельсы, и окруженные двумя тысячами расвирепевших бродяг, начальник участка пути и его помощник приготовились встретить смерть. Не помню, что их спасло, кажется, прибытие поезда.

Теперь настала наша очередь потерпеть неудачу, и неудачу жестокою. В спешке наши извавители не позаботились прицепить достаточное количество вагонов. Там не было места для двух тысяч бродяг. Так что горожане и бродяги поговорили, побратались, спели песни и расстались, горожане на своем захваченном поезде отправились обратно в Омаху, бродяги же на следующее утро выступили в стосорокамильный марш на Де-Мэйн. До того, как армия Келли пересекла Миссури, она не передвигалась пешком, а теперь ей уже не пришлось ездить на поездах. Это стоило железным дорогам уйму денег, но они не отступали от своих принципов и победили.

Андервуд, Лола, Менден, Авока, Уолнат, Марно, Атлантик, Вайото, Анита, Адэр, Адам, Кейзи, Стюарт, Декстер, Карлхем, Де-Сото, Ван-Метер, Буневиль, Коммерс, Валли-Джанкшен — названия городов так и нахлынули на меня, когда я взглянул на карту и проследил наш путь по плодородным землям Айовы!

А гостеприимные айовские фермеры! Они приезжали со своими фургонами и везли наши вещи, в полдень устраивали нам на дороге горячие завтраки, мэры уютных маленьких городков встречали нас приветственными речами и помогали нам двигаться дальше, нам навстречу выходили делегации маленьких девочек и девушек, и сотни честных граждан, взявшись за руки, маршировали с нами вдоль главных улиц своих городов. Когда мы входили в город, создавалось впечатление, что приехал бродячий цирк, и каждый день был для нас таким цирковым праздником, потому что на нашем пути было множество городов.

По вечерам местное население заполняло наш лагерь. Каждая рота разводила свой костер, и у каждого костра что-нибудь происходило. Повара моей роты «Л» были мастерами пения и танцев и организовывали для нас большинство зрелищ. В другом конце лагеря веселый клуб обычно затягивал песню — один из лучших запевал был «Дантист» из роты «Л», и мы им очень

гордились. Кроме того, он рвал зубы у всей армии, и поскольку операции обычно происходили в часы еды, наше пищеварение стимулировалось разнообразными происшествиями. У «Дантиста» не было анестезина, но двое-трое из нас с великой охотой были готовы держать пациента. В добавление к развлечениям для полков и веселых клубов постоянно производились богослужения; их совершали местные священники, и всегда в большом количестве произносились политические речи. Это шло непрерывной чередой, в непрерывных увеселениях мы уже прошли полпути. Среди двух тысяч бродяг можно было откопать массу талантов. Помню, у нас была отборная девятка для бейсбола, и мы ввели в правило выставлять ее по воскресеньям против всех местных команд. Иногда мы играли в одно воскресенье по две игры. В прошлом году во время лекционной поездки я прибыл в Де-Мойн в пульмановском вагоне — я имею в виду не «пульмановский вагон с боковым затвором», а настоящий пульмановский вагон. В предместьях города я увидел сушилки старого кирпичного завода, и у меня сжалось сердце. Это здесь, у старого кирпичного завода, двенадцать лет назад расположилась наша армия и торжественно поклялась больше не идти пешком, потому что наши ноги были стерты до крови и мы не могли больше идти. Мы заняли сушилки и заявили Де-Мойну, что мы пришли сюда, чтобы здесь остаться, что мы пришли, но будь мы прокляты, если мы уйдем. Де-Мойн был гостеприимен, но для него это было слишком. Давайте займемся устным счетом, дорогой читатель. Две тысячи бродяг, которые должны три раза в день плотно поесть, это шесть тысяч порций еды в день, сорок две тысячи порций в неделю или сто шестьдесят восемь тысяч порций в кратчайшем месяце календаря. Это кое-чего стоит. Денег у нас не было. Это целиком ложилось на Де-Мойн.

Де-Мойн был в отчаянии. Мы разбили лагерь, произносили политические речи, устраивали концерты духовой музыки, вырывали зубы, играли в бейсбол и в семерку, съедали наши шесть тысяч порций еды в день, и Де-Мойн за них платил. Де-Мойн с мольбой обратился к железной дороге, но те были упрямы, они заявили, что мы не поедем по железной дороге, что это вопрос решенный. Разрешить нам ехать — значило бы допустить прецедент, а они не собирались допускать какие бы то ни было прецеденты. А мы тем временем продолжали поглощать пищу. Это было устрашающим обстоятельством в данной ситуации. Мы направлялись в Вашингтон, и Де-Мойн должен был бы выпустить местный заем, чтобы оплатить все наши железнодорожные расходы, даже по специальному тарифу, а если бы мы оставались здесь еще, город все равно должен был выпускать заем, чтобы прокормить нас.

Тогда какой-то местный гений разрешил эту проблему. Мы не пойдем пешком. Очень хорошо. Мы должны ехать. Де-Мойн стоит на реке Де-Мойн, которая впадает в Миссисипи у города Кеоук. Расстояние между этими двумя городами равнялось тремстам милям. Мы можем проплыть это расстояние, заявил местный гений, и, имея в своем распоряжении суда, мы можем спуститься по Миссисипи до того места, где в нее впадает река Огайо, и затем вверх по Огайо. Там, где Огайо ближе всего подходит к Вашингтону, мы высадимся на берег и, перейдя через горы, доберемся до столицы.

Де-Мойн провел подписку. Высокосознательные граждане пожертвовали несколько тысяч долларов. Строевой лес, веревки, гвозди и пакля, чтобы конопатить щели, были куплены в огромных количествах, и на берегах Де-Мойна началась невиданная эра кораблестроения. Сейчас Де-Мойн — пустяковый приток, неизвестно почему удостоенный названия «река». На наших обширных западных землях его бы называли «ручей». Старейшие жители города качали головами и говорили, что у нас ничего не выйдет, что в реке слишком мало воды. Де-Мойну было безразлично, лишь бы только избавиться от нас, а мы были такими заядлыми оптимистами, что нам тоже было безразлично.

В среду 9 мая 1894 года мы отправились в путь. Это было начало нашего грандиозного пикника, Де-Мойн легко отделался. Город, конечно, должен был поставить бронзовую статую местному гению, избавившему Де-Мойн от затруднений. Правда, Де-Мойн должен был заплатить за наши суда; пока мы жили в сушилках, мы уничтожили шестьдесят шесть тысяч порций еды и взяли в дорогу дополнительно двенадцать тысяч порций еды — чтобы

предотвратить голод в пустыне, но вы только подумайте, что бы произошло, если бы мы оставались в Де-Мойне одиннадцать месяцев вместо одиннадцати дней. Уезжая, мы пообещали Де-Мойну, что вернемся, если река нас не вынесет.

Иметь двенадцать тысяч порций еды в провиантской лодке очень хорошо, и, несомненно, провиантские растратчики отведали этой еды, потому что провиантская лодка сразу исчезла, и, например, моя лодка так ее и не видела. Во время плавания военный строй был безнадежно нарушен. В любой компании людей всегда есть определенный процент симулянтов, недотеп, прожженных дельцов и обыкновенных смертных. В моей лодке было десять человек, и это были сливки отделения «Л». Каждый был дельцом. Я был включен в эту десятку по двум причинам. Во-первых, я был мастер в любое время достать провизию, и, во-вторых, я был «Джек-Матрос» Я понимал толк в лодках и в морском деле. Наша десятка забыла о существовании остальных сорока человек отделения «Л», и когда мы не получили первого обеда, то забыли и о провиантской лодке. Мы ни от кого не зависели. Мы двигались вниз по реке сами по себе, прокладывая путь на нашей «скорлупке», обгоняя все лодки нашей флотилии, и, увы, я должен признаться, иногда присваивая себе продукты, заготовленные фермерами для всей армии.

На протяжении большей части трехсотмильного пути мы перегнали армию на сутки или полсуток. Нам удалось раздобыть несколько национальных американских флагов. Когда мы подплывали к небольшому городку или группе фермеров, собравшихся на берегу, мы поднимали наши флаги и, назвавшись флагманом флотилии, настойчиво допытывались, какая провизия заготовлена для армии. Мы, разумеется, представляли армию, и провизию приносили нам. Но в этом с нашей стороны не было никакой низости. Мы никогда не брали больше, чем могли взять с собой. Но мы брали все самое лучшее. Например, если какой-нибудь филантропически настроенный фермер жертвовал на несколько долларов табаку, мы его брали себе. Мы также забирали сахар и масло, кофе и консервы, но когда запасы состояли из мешков муки, или бобов, или из двух-трех окровавленных воловьих туш, мы от них решительно отказывались и продолжали свой путь, распорядившись погрузить всю эту провизию на интендантские лодки, которые обязаны были следовать за нами.

Боже, наша десятка как сыр в масле каталась! Генерал Келли долго и безрезультатно пытался перегнать нас. Он послал двух гребцов в легкой лодчонке с выгнутым дном, чтобы они настигли нас и положили конец нашей пиратской деятельности. Они действительно нас догнали, но их было двое, а нас — десять. Генерал Келли уполномочил их арестовать нас, и они нам об этом сказали. Когда мы выразили нежелание стать узниками, они спешно направились вперед, к близлежащему городу, чтобы просить власти о помощи. Мы немедленно сошли на берег, приготовили ранний ужин, а потом под прикрытием темноты проскочили мимо города и его властей.

Во время путешествия я иногда вел записи в дневнике, и когда я перечитываю их теперь, мне попадается одна настойчиво повторяющаяся фраза, а именно: «Живем чудесно». Мы действительно жили чудесно. Мы дошли до того, что не стали варить кофе на воде. Мы считали это ниже своего достоинства и варили свой кофе на молоке, называя чудесный напиток, если мне не изменяет память, кофе «по-венски».

Пока мы плыли впереди, снимая сливки, провиантская лодка затерялась где-то далеко позади, а основная армия, двигаясь между нами, голодала.

Признаю, для армии это было тяжело, но в конце концов мы, десять человек, были индивидуалистами. Мы были изобретательны и предприимчивы. Мы были твердо убеждены, что еда принадлежит тому, кто первый ее берет, кофе «по-венски» достается сильнейшим. В одном месте армия проплыла без пищи сорок восемь часов и затем подошла к деревне, в которой было сотни три жителей, названия ее я не помню, но мне кажется, что это был Ред Рок. Этот городок, следуя примеру всех городов, мимо которых проплывала наша армия, назначил комитет безопасности. Если считать, что в семье в среднем пять человек, Ред Рок состоял из шестидесяти хозяйств. Городской комитет был в страшной панике из-за вторжения двух тысяч

голодных бродяг, которые поставили свои лодки вдоль берега в два-три ряда. Генерал Келли был справедливым человеком. Он не хотел ввергать деревню в беду. Он не ожидал, что шестьдесят хозяйств приготовят шесть тысяч порций еды. Кроме того, у армии имелась своя казна.

Но комитет безопасности потерял голову. У них была программа: «Никакой поддержки захватчикам», — и когда генерал Келли захотел купить провизию, комитет ему отказал. Им нечего было продавать, деньги генерала Келли тут не помогут. Тогда генерал Келли начал действовать. Затрубили тревогу. Армия оставила лодки и построилась на берегу в боевом порядке. Комитет был тут же и все видел. Речь генерала Келли была краткой.

— Ребята, — сказал он, — когда вы последний раз ели?

— Позавчера, — закричали они.

— Вы голодны?

Громовое «да», вырвавшееся из двух тысяч глоток, грянуло, как выстрел! Тогда генерал Келли повернулся к комитету безопасности.

— Джентльмены, вы видите, какое положение. Мои люди сорок восемь часов ничего не ели. Если я выпущу их на ваш город, я не отвечаю за последствия. Это отчаянные головы. Я хотел купить у вас для них провизию, но вы отказались продавать. Сейчас я беру свое предложение обратно. Теперь я буду требовать. Даю вам пять минут на размышление. Или зарежьте для меня шесть быков и дайте четыре тысячи рационов, или я предоставлю своим людям свободу действий. Пять минут, джентльмены.

Напуганный до полусмерти комитет безопасности взглянул на две тысячи голодных бродяг и сдался. Ему не потребовалось пяти минут. Положение было безвыходное. Быки были убиты, полным ходом шла реквизиция съестных припасов, и армия пообедала.

А десять обнаглевших индивидуалистов неслись впереди и забирали все, что попадалось им на глаза. Но генерал Келли поставил нас в трудное положение. Вдоль каждого берега он послал всадников, которые предостерегали против нас фермеров и горожан. Они делали свое дело как следует, хорошо делали. Некогда гостеприимные фермеры оказывали нам ледяной прием. Кроме того, когда мы причаливали к берегу, они вызывали констеблей и спускали собак. Я-то знаю. Две собаки настигли меня однажды, когда между мной и рекой был забор с колючей проволокой. Я нес два ведра молока для кофе по-венски. Я не причинил никаких повреждений забору, но мы пили плебейский кофе, заваренный на вульгарной воде, а мне пришлось отправиться на поиски новой пары брюк.

Интересно, дорогой читатель, пытались ли вы когда-нибудь быстро влезть на забор, обнесенный колючей проволокой, держа в каждой руке по ведру молока? С тех пор у меня предубеждение против колючей проволоки, и я собираю статистический материал по этому предмету.

Не имея возможности вести честный образ жизни, пока генерал Келли гнал впереди нас двух своих всадников, мы возвратились в армию и подняли восстание. Дело было пустяковое, но оно взорвало отделение «Л». Капитан отделения «Л» отказался нас признать, заявил, что мы дезертиры, предатели и жулики, и, когда привозили от интендантов провизию для отделения «Л», он нам ничего не давал. Этот капитан нас недооценивал, иначе бы он не оставлял нас без пищи. Мы незамедлительно завели интригу с первым лейтенантом. Он присоединился к нам вместе с десятком рядовых его лодки, а мы, в свою очередь, избрали его капитаном отделения «М». Капитан отделения «Л» поднял шум. Против нас выступили генерал Келли, полковник Спид и полковник Бейнер. Наша двадцатка держалась крепко, и наше отделение «М» получило признание.

Но мы никогда не связывались с провиантскими комиссарами. Наши молодцы добывали у фермеров продукты намного лучше. Однако наш новый капитан нам не доверял. Когда мы утром пускались в путь, он всегда сомневался, увидит ли он нас еще; словом, чтобы окончательно закрепить за собой свое капитанское звание, он пригласил кузнеца. На корме нашей лодки, по одной с каждой стороны, были приделаны две внушительные железные скобы

для болтов. Соответственно на носу его лодки были укреплены два солидных железных крюка. Лодки притянули одну к другой — носом к корме — крючья опустили в скобы, так мы и оставались прикованные наглухо и накрепко. Мы никуда не могли деться от этого капитана. Но мы были неукротимы. Даже наш капкан мы превратили в непобедимое приспособление и получили возможность подчинить себе любую другую лодку нашей флотилии.

Как все великие открытия, наше изобретение было случайным. Впервые мы это обнаружили, когда налетели на подводную корягу на стремнине. Первая лодка прочно села днищем, а вторую течение заносило вперед, и она заставляла первую лодку вращаться на камне. Я управлял задней лодкой и находился на корме. Напрасно мы старались сдвинуть ее с места. Тогда я приказал всем с первой лодки перейти во вторую. Первая лодка моментально всплыла, и ее команда вернулась на место. После этого происшествия мы уже не боялись подводных рифов, коряг, перекатов и мелей. В тот миг, когда первая лодка обо что-нибудь ударялась, ее команда моментально перебиралась во вторую лодку. Первая, конечно, сразу же всплывала над препятствием, и тогда садилась на мель вторая лодка. Двадцать человек, как автоматы, перескакивали из второй лодки в первую, и вторая лодка свободно проплывала над препятствием.

Лодки нашей флотилии были все одинаковы, сделаны они были грубо. Они были плоскодонны, прямоугольной формы. Каждая лодка имела шесть футов в ширину, и десять футов в длину, и полтора фута в высоту. Следовательно, когда обе лодки были сцеплены, я сидел на корме, направляя приспособление двадцати футов длиной, вмещающее двадцать предприимчивых бродяг, сменяющих друг друга на веслах, и еще одеяла, кухонные принадлежности и наши собственные вещи.

Мы по-прежнему причиняли генералу Келли неприятности. Он отозвал своих всадников и заменил их тремя полицейскими лодками, которые шли в авангарде и не разрешали ни одной лодке обгонять их. Судно отделения «М» жестоко расправилось с полицейскими лодками. Мы могли легко обойти их, но это было бы нарушением правил. Так что мы шли на почтительном расстоянии за ними и ждали. Мы знали, что впереди лежит девственная фермерская страна — великодушная страна, где еще никто не попрошайничал, но мы ждали. Пороги — это единственное, в чем мы нуждались, и когда на излучине реки показались пороги, мы поняли, что наступил долгожданный момент. Удар! Полицейская лодка номер один врезается в гальку и садится на мель. Банг! Полицейская лодка номер два следует за первой. Хлоп! Полицейская лодка номер три разделяет судьбу первых двух. Конечно, наша лодка делает то же самое, но раз-два — все перешли в хвостовую лодку, раз-два — все перепрыгнули из хвостовой в головную, и раз-два — те, кто сидел в хвостовой лодке, заняли свои места, и, подхваченные течением, мы помчались дальше. «Стой! Стой, проклятые!» — вопили с полицейских лодок. «Как? Остановите проклятое течение!» — с грустью отвечали мы, когда проносились мимо, подхваченные безжалостным течением, которое увлекло нас вниз, скрыло из виду и примчало к гостеприимному фермерскому краю, пополнившему наши личные запасы лучшей частью своих жертвований. Мы снова пили кофе по-венски и рассуждали, что еда дается тому, кто ее хватает.

Бедный генерал Келли! Он разработал новый план. Весь флот шел впереди нас. Отделение «М» Второй дивизии плыло на отведенном ему месте, то есть сзади всех. Нам понадобился только один день, чтобы этот план рухнул. Нам предстояло пройти двадцать пять миль трудного пути — сплошные пороги, мели, перекаты и валуны. Это был тот самый участок реки, где сворачивали себе шеи коренные жители Де-Мойна. Около двухсот судов вошли в эти воды, и через некоторое время течение перемешало их. Это было причудливое нагромождение лодок. Мы шли сквозь недвижную флотилию, как нож сквозь масло. Мы не обходили отмели, перекаты и коряги, мы иногда шли прямо через них, раз-два, раз-два, головная лодка, хвостовая лодка, головная лодка, хвостовая лодка, все гребцы сзади, потом впереди, потом снова сзади. В ту ночь мы стали на привал в одиночестве и бездельничали весь следующий день, пока армия латала и чинила свои искалеченные лодки и с трудом пробивалась к нам.

Упрямство наше было безгранично. Мы соорудили мачту, натянули паруса из одеял и плыли по несколько часов, как на прогулке, пока армия напрягала все силы, чтобы не отстать от нас.

Тогда генерал Келли решил прибегнуть к дипломатии. В тот момент ни одна лодка не могла нас тронуть. Бесспорно, мы были самым бесшабашным экипажем, когда-либо спускавшимся по Де-Мойну. Полицейские лодки были упразднены. Полковник Спид был водворен к нам на борт, и с этим выдающимся офицером нам выпала честь первыми прибыть в Кеокук на Миссисипи. И здесь я сразу хочу сказать генералу Келли и полковнику Спиду — вот вам моя рука. Вы были героями, вы оба, и вы были мужчинами. И я раскаиваюсь по крайней мере в десяти процентах тех огорчений, которые доставила вам головная лодка отделения «М».

В Кеокуке все лодки флотилии соединили в огромный плот, и после однодневной задержки из-за дувшего нам навстречу ветра пароход потянул нас на буксире вниз по Миссисипи, к городу Куинси, штат Иллинойс, где мы разбили лагерь посреди реки на Гусином острове. Здесь от идеи большого плота отказались, лодки были соединены по четыре штуки и покрыты общей палубой. Кто-то сказал мне, что Куинси — самый богатый среди маленьких городов Соединенных Штатов. Когда я это услышал, меня моментально охватило непреодолимое стремление направить туда свои стопы. Вероятно, ни один заправский профессионал не пропустит такого многообещающего города. Я пересек реку к Куинси в маленьком челноке, а вернулся на большой речной лодке, доверху нагруженной подарками, полученными во время моего путешествия. Я, конечно, оставил себе все деньги, которые собрал, хотя пришлось брать лодку внаем, я также выбрал себе белье, носки, поношенную одежду, рубашки, и после того, как отделение «М» взяло все, что им хотелось, там все еще оставалась солидная куча, которую передали отделению «Л». Увы, в те дни я был молод и щедр! Я рассказал тысячу историй добрым жителям Куинси, и все рассказы были «хорошими», но с тех пор как я начал писать для журналов, я часто сожалею о бесценных сюжетах, о богатом воображении и великолепных историях, которые я расточал в тот день в Куинси, штат Иллинойс.

Мы были в Ганнибале, штат Миссури, когда рассыпалась десятка непобедимых. Это случилось неожиданно. Мы совершенно естественно поплыли в разные стороны. Жестянщик и я сбежали тайно. В тот же день Скотти и Дэви быстро скрылись на иллинойском берегу, не стало также Мак-Авоя и Фиша. Такова судьба шестерых из десяти, что же произошло с остальными четверьмя, я не знаю. Чтобы показать, что такое жизнь на Дороге, я привожу выписки из своего дневника, относящиеся к дням, следующим за моим бегством.

«Пятница, 25 мая. Мы с Жестянщиком оставили лагерь на острове. Мы направились к иллинойскому берегу на лодке и прошли шесть миль на север к Чикагско-Берлингтонской железной дороге к Фел-Крику. Мы сделали пешком шесть миль, а потом сели на дрезину и проехали шесть миль к Халлу, Уобаш. Там мы встретили Мак-Авоя, Фиша, Скотти и Дэви, которые тоже убежали из армии.

«Суббота, 26 мая. В 2 ч. 11 м. ночи мы сели на „пушечное ядро“, когда оно замедляло ход на скрещении линий. Скотти и Дэви сняли. Нас четверых сняли в Блафсе, в сорока милях от места посадки. В полдень Фиш и Мак-Авой сели на товарный поезд, в то время как мы с Жестянщиком ходили за провизией.

«Воскресенье, 27 мая. В 3 ч. 21 м. ночи мы сели на „пушечное ядро“ и в тамбуре багажного вагона наткнулись на Скотти и Дэви. Днем в Джексонвилле нас всех высадили. Здесь проходят поезда Чикаго-Альтонской дороги, мы с ними и отправимся. Жестянщик ушел и не возвратился. Наверно, попал на товарный.

«Понедельник, 28 мая. Жестянщик не показывается. Скотти и Дэви пошли отсыпаться и не вернулись вовремя, чтобы успеть в 3 ч. 30 м. ночи на пассажирский из города Канзас-Сити. Я сел на него и ехал до рассвета, пока не оказался в городе Мейсон-Сити с населением в 25 000 человек. Сел в поезд для перевозки скота и ехал в нем всю ночь.

«Вторник, 29 мая. В 7 часов утра приехал в Чикаго...»

Много лет спустя, будучи в Китае, я с огорчением узнал, что приспособление, которое мы применяли для плавания среди порогов Де-Мойна — наше раз-два, раз-два, выполняемое по

схеме: головная лодка — хвостовая лодка, — было изобретено не нами. Я узнал, что китайские лодочники уже тысячи лет употребляют такое же приспособление, чтобы плавать на трудных участках реки. Все равно это неплохая штука, даже если нам никто не скажет за нее спасибо. Она отвечает мерилу истины доктора Джордана: «Принесет это пользу? Посвятите ли вы этому свою жизнь?»

«Быки»

Если бы в Соединенных Штатах вдруг начисто перевелись бродяги, это принесло бы неисчислимые бедствия многим американским семьям. Тысячи добропорядочных граждан благодаря бродяге имеют возможность честно кормиться и растить детей в страхе божием, в усердии к труду. Мне ли не знать этого! Мой отец был одно время констеблем и средства к существованию добывал ловлей бродяг. Община платила ему за пойманных с головы, да сверх того как будто бы и прогонные. А так как финансы всегда были нашим узким местом, то от охотничьей фортуны моего родителя зависело решительно все: от новой пары сапог и куска говядины в супе до воскресных развлечений и школьных учебников. Помню, с каким нетерпением я ждал по утрам рассказов отца о его ночных трудах — о том, сколько бродяг удалось ему изловить и можно ли надеяться упечь их за решетку. Вот отчего впоследствии, когда я и сам сделался бродягой и не раз, случалось, ускользал от силков прохвоста-констебля, я испытывал невольное сочувствие к его бедным ребятишкам: мне казалось, что я виноват перед этими славными мальчиками и девочками, ведь это из-за меня они лишились какой-то своей доли жизненных благ.

Но так уж устроена жизнь: бродяга противопоставляет себя обществу, а сторожевые псы общества кормятся им. Однако бывает, что бродяга сам дается в лапы такому сторожевому псу, особенно в зимнюю пору. Конечно, он старается избирать такие общины, где тюрьмы пользуются репутацией «приличных», где не заставляют работать и более или менее сносно кормят. К тому же не раз бывало, а может, бывает и сейчас, что констебли делятся полученной мздой со своей дичью. Такому констеблю и охотиться не нужно: стоит лишь свистнуть — и дичь тут как тут.

Вы не поверите, какой прибыльной статьей дохода являются бродяги-каменоломы. По всему югу, по крайней мере когда я там бродяжил, существовали лагеря заключения и плантации, где бродяга был просто рабочей скотинкой и труд его продавался окрестным фермерам. Да и на севере немало таких мест, как, скажем, Ретлендские каменоломни в штате Вермонт, где эксплуатируется труд бродяги и где «жирок», который он нагулял, мяса грязь, граня мостовую и толкаясь в чужие двери, приносится на алтарь зацапанной его общины.

Ничего не сумею вам рассказать о пресловутых Ретлендских каменоломнях. Говорю это с тем большим удовлетворением, что сам был на волосок от того, чтобы угодить туда. У босяков свой беспроволочный телеграф; впервые я услышал про Ретлендские каменоломни в далекой Индиане. Когда же мне довелось побывать в Новой Англии, я только про них и слышал, и всякий раз в виде предостережения. «В каменоломнях не хватает рабочих рук! — били тревогу встречные бродяги. — Нашим там дают не меньше трех месяцев». К тому времени, как я добрался до штата Нью-Хемпшир, мне столько наговорили про каменоломню, что я буквально шарахался от кондукторов, быков и констеблей.

Как-то вечером, заглянув на станцию Конкорд, я увидел готовый к отправлению товарный. Недолго думая, я разыскал пустой вагон, открыл раздвижную дверь и забрался внутрь. Я мечтал к утру попасть в Уайт-Ривер; это привело бы меня в штат Вермонт — на расстояние не более тысячи миль от страшного Ретленда. Однако дальнейший мой путь лежал на север, и расстояние это должно было с каждым днем увеличиваться. В вагоне я до смерти напугал

спрятавшегося там «новичка». Он принял меня за кондуктора, но, признав во мне своего брата бродягу, стал расписывать всякие ужасы насчет Ретлендских каменоломен: мол, не удивительно, что он так перетрусил. Это был простой деревенский парень, он шатался по своей округе и никуда дальше носа не казал.

Товарный тронулся, мы примостились в углу вагона и уснули. Часа два-три спустя я проснулся на остановке: кто-то, стараясь не производить шума, отодвигал дверь справа от меня. Мой товарищ спал как убитый. Я притворился спящим, зажмурил глаза, но оставил щелочку. Сперва в открытую дверь просунулся фонарь, а за ним голова кондуктора. Он увидел нас и с минуту внимательно разглядывал. Я ждал уже взрыва площадной брани или обычного:

«Вытряхивайтесь отсюда, сукины дети!», — но он вместо этого осторожно убрал фонарь и тихонько притворил дверь. Поведение его показалось мне крайне странным и подозрительным. Я насторожился и услышал, как тихонько стукнул засов. Итак, дверь заперта, и нам изнутри не открыть ее. Один выход у нас отрезан. Никуда это не годится! Подождав минуту, я подполз к противоположной двери и подергал ее. Дверь подалась. Тогда я открыл ее, соскочил вниз и опять закрыл; потом пролез под буферами на другую платформу, отворил дверь, запертую кондуктором, влез в вагон и прикрыл за собой дверь. Оба выхода теперь действовали. Новичок продолжал храпеть.

Поезд снова тронулся. Вот и следующая станция. По гравию закрипели шаги. С шумом отворилась дверь слева. Мой спутник проснулся; я сделал вид, что протираю глаза. Мы присели на полу и уставились на кондуктора и на его фонарь. Кондуктор, не теряя драгоценного времени, приступил к делу.

— Уплатите мне три доллара! — потребовал он.

Мы вскочили и подошли ближе для переговоров. Выразив полную и безоговорочную готовность дать ему просимое, мы сослались на житейские неудачи, мешающие нам привести в исполнение это горячее желание. Кондуктор нам не верил. Он стал торговаться и сбавил до двух долларов. Мы с прискорбием намекнули на крайние денежные затруднения. Тут он наговорил нам всяких нелестных вещей, сказал, что он таких прохвостов еще не видывал, и прошелся по адресу всей нашей родни. Потом пустил в ход угрозы: если мы не отсчитаем ему денежки сполна, он запрет нас в вагоне и отвезет в Уайт-Ривер, а там сдаст властям. И, конечно, он не поленился растолковать нам все насчет Ретлендских каменоломен.

Кондуктор считал, что мы у него в руках. Разве не караулил он единственный выход и не запер вторую дверь всего десять минут назад? Как только он помянул каменоломни, новичок перетрусил и стал бочком подвигаться к другому выходу. Кондуктор захохотал и долго не мог успокоиться.

— Не смейся меня, — сказал он, — я запер ее еще на той остановке.

Он так слепо верил в эту запертую дверь, что мог убедить кого угодно. Новичок поверил и был близок к отчаянию. Кондуктор предъявил нам ультиматум: либо подавай ему два доллара, либо он запрет нас и выдаст в Уайт-Ривер констеблю, а это верных три месяца тюрьмы и работа на каменоломне. Итак, дорогой читатель, вообразите наше положение, если бы вторая дверь действительно была заперта. Вот она, превратность в жизни человеческой! Только потому, что у меня не нашлось доллара, мне предстояло отправиться на каменоломню и протрубить три месяца на каторжных работах. То же самое и новичку. Ну, скажем, я отпетая голова, туда мне и дорога! Ну, а новичок? Ведь отбыв свои три месяца, он вышел бы из тюрьмы законченным прощелыгой, пожизненным преступником. Когда-нибудь он, глядишь, разнес бы дубиной и ваш драгоценный череп, покушаясь на ваш кошелек, а если не ваш лично, то череп другого, такого же безобидного существа, как вы.

Но выход был свободен, и я один это знал. Мы с новичком запросили пардону. Трудно сказать, что заставило меня присоединиться к его униженным мольбам. Должно быть, чистейшее озорство. Но я старался, как мог. Я рассказал «историю», которая из камня исторгла бы слезы, но она не тронула каменного сердца живодера-кондуктора. Убедившись, что у нас нет денег, он

закрыв дверь на засов, но уходить медлил: вдруг мы его надули, а теперь одумаемся и предложим ему два доллара.

Тогда я малость дал себе волю. Я крикнул ему, что он распоследняя сволочь, и вернул ему все его бранные слова да еще от себя кое-что прибавил. Я родился и вырос на Западе, где искусство сквернословия стоит чрезвычайно высоко, так неужто я позволю какому-то вшивому кондуктору с какой-то поганой новоанглийской чугулки перещеголять меня по части сочности и выразительности языка! Кондуктор пытался отделаться смехом, но затем не пожелал остаться в долгу и допустил этим величайшую тактическую ошибку. Тут я маленько надавал: загнул ему такое, от чего он взревел, как ошпаренный, да еще подсыпал ему на больное место парочку отборных, свеженьких, с пылу с жару, эпитетов. Ярость моя была непритворной: меня приводил в бешенство подлец, который ради какого-то паршивого доллара готов обречь нас на три месяца каторжных работ. Мало того, у меня шевелилось подозрение, что он с констеблем на паях и получает с него процент.

Ну и всыпал же я ему! Я оскорбил его и насмеялся над ним по меньшей мере на несколько десятков долларов. Он пытался угрожать, кричал, что вытряхнет из меня душу. На это я пообещал расквасить ему физиономию, пусть только сунется. Перевес был на моей стороне, и он понимал это. Поэтому он не открыл дверь, а стал звать других кондукторов на подмогу. Я слышал, как они откликались на его зов, слышал, как гравий хрустит под их сапогами. И все время выход слева был свободен, а они ни о чем не догадывались, и новичок дрожал как осиновый лист.

О да, я вел себя героем, заранее обеспечив себе путь к отступлению, и не переставал поносить кондуктора и всю их поездную братию, пока они не открыли дверь и в свете фонарей не возникли перед нами их разъяренные лица. Они думали, что мы у них в руках; сейчас они ворвутся и расправятся с нами. И они и в самом деле полезли в вагон. Но я не стал лупить их по мордасам. Я дернул противоположную дверь, и мы с новичком пустились наутек. Бригада — за нами.

Помнится, нам пришлось перемахнуть через каменную ограду, но куда мы тут попали, ввек не забуду. В темноте я споткнулся о могильную плиту. Новичок растянулся во весь рост на другой. И пошла у нас тут катавасия! Мы припустили через кладбище, словно табун чертей. Покойники, должно быть, думали, что мы рехнулись. То же самое, видно, решили и наши преследователи: когда мы выбежали с кладбища и бросились через дорогу в темный лес, бригада прекратила погоню и вернулась на поезд.

Несколькими часами позже мы с новичком набрали на колодец возле какой-то фермы. Нам захотелось пить, и наше внимание привлекла тонкая веревка, спущенная вниз по стенке колодца. Мы вытащили веревку; к концу ее был привязан литровый бидон со сметаной. Вот, пожалуй, случай, когда я был особенно близок к тому, чтобы угодить в Ретлендскую каменоломню в штате Вермонт.

Если среди бродяг проносится слух, что в таком-то городе «вредный климат», что «с быками там каши не сварить», лучше туда не соваться, и уж, во всяком случае, извольте вести себя смирно. Есть города, которые этим славятся. Таким городом в мое время считался Шейенн на железной дороге Юнион-Пасифик. О том, что в Шейенне «вредный климат» и что «с быками там каши не сварить», известно было по всей Америке, город прославился этим, так сказать, в общенациональном масштабе, а создал ему такую репутацию (если я верно запомнил его имя) некий Джефф Карр. Джефф Карр не вступал в пререкания. Он узнавал бродягу с первого взгляда: для этого ему достаточно было мгновения, в следующее он уже пускал в ход кулаки, дубинку или что попало. Проучив бродягу, чтобы долго помнил, он приказывал ему убираться из города, обещая еще не так его отделать, попадись он ему в другой раз. Джефф Карр знал свое дело. На север, на юг, на запад и восток — во все концы Соединенных Штатов (а также Канады и Мексики) разносили бродяги весть, что «климат» в Шейенне никудашный. По счастью, я никогда не встречал Джеффа Карра. Мне пришлось побывать в Шейенне проездом, в сильную метель. Мы путешествовали большой компанией в восемьдесят четыре человека и, полагаясь на

свои силы, плевали на всех, исключая Джеффа Карра. Одно уж имя его повергало нас в трепет, оглушало, как удар дубинки, и вся наша команда смертельно трусила перед встречей с ним. С таким полисменом нет смысла пускаться в объяснения. Лучше заблаговременно дать тягу. Я узнал это на горьком опыте, но окончательно наставил меня на разум один нью-йоркский полисмен. С тех пор у меня рефлекс: стоит быку грозно посмотреть на меня, и я даю тягу. Бессознательная реакция, определяющая мое поведение в таких случаях, напоминает действие спусковой пружины, послушной малейшему нажатию. Я с этим бессилён бороться. И пусть мне минет восемьдесят лет и я стану немощным старцем, ковыляющим на костылях, — достаточно будет быку грозно на меня глянуть, как я побросаю костыли и пушусь наутек, подобно робкому оленю.

Завершающий урок в науке о быках был преподан мне в Нью-Йорке однажды знойным полднем. Всю эту неделю стояла умопомрачительная жара. В ту пору я имел обыкновение промышлять утром, а вторую часть дня проводил в небольшом скверике по соседству с Ньюспейпер-Роу и городской ратушей. Здесь можно было за несколько центов купить с ларьков книгу современного автора, пущенную в брак из-за какого-нибудь изъяна в брошюровке или переплете. А в сквере продавалась в киосках простокваша или стерилизованное молоко, прямо со льда, пенни стакан. Всю вторую половину дня я просиживал на скамье, читая книжку и потягивая молоко. Я выдувал его от пяти до десяти стаканов в день. Как я уже говорил, жара стояла несусветная.

Таким-то образом я, скромный бродяга и усердный книголюб, жил на молочной диете, и послушайте, чем это кончилось. Как-то после полудня направился я в сквер, как обычно, со свежей книгой в руке и неутолимой жаждой простокваши под манишкой. Пробираясь к киоску, я увидел перед Ратушей на мостовой большое скопление народа. Я как раз переходил улицу и остановился посмотреть, на что толпа зевает. Сначала я ничего не понимал, но, уловив кое-что краешком глаза и разобрав отдельные выкрики, догадался, что компания ребятишек затеяла игру в «камушки». Надо сказать, что в Нью-Йорке играть в камушки на улице воспрещено. Тогда я еще не знал этого; но вскоре весьма близко столкнулся с этим. И минуты не прошло, как я остановился; я только успел узнать, чем вызвано стечение народа, как кто-то из мальчишек крикнул: «Бык!» Ребята, народ ученый, пустились наутек. Я нет.

Толпа мгновенно рассеялась, отхлынул к тротуарам. Я тоже направился к тротуару, в сторону сквера. Человек пятьдесят публики, рассыпавшись по мостовой, устремились туда же. И тут я увидел быка. Это был рослый детина в серой форме полисмента. Он шел посреди мостовой неспешной, гуляющей походкой. Я заметил, что он вдруг изменил направление и идет наискось к тому тротуару, к которому я подвигался напрямик. Он шел не спеша, пробираясь через толпу, и я видел, что пути наши вот-вот пересекутся. Но хоть я и знал быков и их повадки, я был слишком уверен в своем благоразумии и на душе у меня было спокойно. Мне в голову не приходило, что бык нацелился на меня. Я уже хотел остановиться и из уважения к закону пропустить его вперед; и я действительно остановился, но только помимо своей воли, и так же невольно отлетел назад. Полисмен без предупреждения обоими кулачищами двинул меня в грудь и одновременно в словесном выпаде коснулся чести моей матушки, набросив тень на чистоту моей родословной.

Кровь свободного американца вскипела во мне. Возопили все мои вольнолюбивые предки. «Что это значит?» — спросил я. Как видите, я требовал объяснений. И получил их. Бац! — огрел он меня по голове дубинкой, и я, шатаясь, отступил назад, словно пьяница, который не держится на ногах, и физиономии любопытствующих качались передо мной, словно в волнах прибое, и драгоценная книжка, выскользнув, шлепнулась в грязь, и бык, замахнувшись, приготовился снова огреть меня дубинкой. В этот миг, когда все плыло передо мной, как в тумане, меня посетило видение. Я увидел, как дубинка гуляет по моей голове, увидел себя, измятого, залитого кровью, глядящего волком, перед трибуной полицейского суда; услышал, как клерк читает обвинительный акт, где упомянуто злостное хулиганство, словесное оскорбление, сопротивление властям и прочее и прочее, а потом увидел себя уже в Блэкуэлллендской

тюрьме. О, я недаром побывал у них в науке. Я мигом потерял интерес к объяснениям. Я даже не дал себе труда поднять свою драгоценную, еще не читанную книгу и пустился наутек. Меня черт знает как мучило, но это не мешало мне удирать во все лопатки. И так уж, видно, суждено мне удирать до самой смерти, как только полисмен захочет объясниться со мной при помощи дубинки.

Да что там! Много лет спустя, когда годы странствий для меня миновали и я учился в Калифорнийском университете, я как-то вечером собрался в цирк. И представление и концерт давно кончились, а я все еще слонялся по площади в надежде увидеть, как перевозится оборудование огромного цирка: в эту ночь вся труппа покидала город. У костра на площади собралась ватага ребятишек человек в двадцать. Из их разговоров я понял, что они собираются бежать, присоединившись к труппе. Сами цирковые, разумеется, ничего, кроме неприятностей, от этого не ждали, и звонок в полицейское управление спутал мальчуганам их игру. Был выслан отряд полисменов арестовать сорванцов, которые-де нарушают постановление о полицейском часе. Быки залегли в темноте, вокруг костра. По сигналу они набросились на ребят и стали их хватать, как хватают юрких угрей в полной корзине.

Мне ничего не было известно о готовящейся облаве. И когда в воздухе замелькали медные пуговицы, шлемы и кулаки полисменов, я утратил всякое самообладание, все сдерживающие центры во мне рухнули, остался один только импульс — бежать! И я обратился в бегство. Я понятия не имел, что бегу. Я ни о чем понятия не имел; как я уже говорил, в эту минуту я не владел собой. У меня не было никаких оснований удирать. Я не был бродягой. Я был полноправным гражданином и находился в родном городе. Я не знал за собой никакой вины. Я был студентом университета. Обо мне даже упоминали местные газеты. И на мне был приличный костюм, в котором никто не спал ночью. И все же я бежал, повинуюсь слепому инстинкту, ничего не сознавая, бежал, как испуганный олень, целых полтора квартала. Придя в себя, я заметил, что все еще бегу. Потребовалось усилие, чтобы остановить мои бегущие ноги. Нет, никогда мне с этим не справиться! Это сильнее меня. Как только полисмен бросит в мою сторону грозный взгляд, я — бежать! Кроме того, у меня злосчастная способность вечно попадать в участок. И это даже чаще случается со мной с тех пор, как я перестал быть бродягой, чем в разгар моих скитаний. Так, например, отправляюсь я в воскресенье утром в обществе некой молодой особы покататься на велосипеде. И не успеваем мы выбраться из города, как нас волокут в отделение за то, что мы позволили себе обогнать какого-то пешехода на тротуаре. Я даю себе слово быть осторожней. Следующий раз выезжаю я на велосипеде вечером, и мой ацетиленовый фонарь вдруг портится. Помня об обязательном постановлении, я глаз не свожу с мерцающего огонька, боясь, что он вот-вот угаснет. Времени у меня в обрез, но приходится ехать черепашим шагом, чтобы сберечь этот слабый язычок пламени. Наконец я за чертой города. Здесь постановление недействительно, и я наддаю изо всех сил, чтобы наверстать упущенное время. И что же? Не проехал я и мили, как угодил в лапы полисмена, а наутро в участке с меня благополучно содрали штраф. Оказывается, город предательски раздвинул свои границы, отторгнув с милую пространства от пригорода, а мне это было неизвестно, вот и вся недолга. Памятуя о дарованной американскому гражданину свобода слова и собраний, я поднимаюсь на уличную трибуну, чтобы преподать слушателям некую экономическую теорию — предмет моего последнего увлечения, — как вдруг бык стаскивает вашего покорного слугу с этой вышки и отводит в городскую тюрьму, откуда его выпускают только на поруки, и увы, ненадолго! В Корее я попадался чуть ли не ежедневно. То же самое в Маньчжурии. Когда я последний раз ездил в Японию, меня упекли там в тюрьму под предлогом, будто я русский шпион. Не я выдумал эту чепуху, а в тюрьму посадили меня. Словом, нет спасения! Боюсь, что мир еще увидит меня в роли Шильонского узника. Предрекаю это.

Как-то раз мне удалось загипнотизировать полисмена в Бостоне. Было уже далеко за полночь, и он хотел меня забрать. Но не успел я поговорить с ним толком, как он полез в карман за четвертаком да еще объяснил мне, где ближайший ночной ресторан. Другой полисмен в городе Бристоле, штат Нью-Джерси, тоже отпустил меня подобру-поздорову, хотя у него было более

чем достаточно оснований меня арестовать. Я задал ему такую встряску, что он век не забудет. Вот как это произошло. Однажды в Филадельфии часов в двенадцать ночи я только что устроился на товарном, как кондуктор ссадил меня. Но пока поезд осторожно прокладывал себе дорогу среди бесчисленных путей и стрелок сортировочной станции, я снова забрался в него — и снова был ссажен. Дело в том, что устраиваться приходилось снаружи, так как весь состав состоял из запертых и запломбированных вагонов.

Ссаживая меня вторично, кондуктор прочитал мне наставление. Он сказал, что я рискую жизнью, это, мол, не обыкновенный товарный, — это такой лихой поезд, что только держись! Я сказал ему, что я и сам лихой, но это его не убедило. Он заявил, что не позволит мне совершить самоубийство, и пришлось слезть. В третий раз я сел, устроившись на буферах, но таких неудобных буферов, как на этом товарном, мне еще не случалось видеть, — я, конечно, имею в виду не те буфера, которые при движении поезда стучаются и трутся друг о друга, а так называемые буферные брусья — железные планки, отходящие от вагонной рамы над буферами. Путешествуя «на буферах», вы, в сущности, забираетесь на буферные брусья смежных вагонов, собственно же буфера остаются внизу под вашими ногами.

Но те брусья, или планки, на которых я сейчас стоял, были отнюдь не похожи на удобные, основательные брусья, обычно встречавшиеся в то время на товарных вагонах. Эти были невозможно узкие, не более полутора дюйма в ширину, — даже половина моей подошвы на них не умещалась; к тому же и ухватиться было не за что. Правда, по обе стороны от меня находились стены вагонов, но это были абсолютно ровные отвесные стены — попробуйте за них держаться! Единственное, что я мог сделать, — это упереться ладонями. И это бы еще куда ни шло, будь у меня под ногами надежная опора.

Как только товарный вышел из Филадельфии, он начал набирать скорость. И тут я понял, что разумел кондуктор, говоря о самоубийстве. Мы мчались все быстрее и быстрее. Это был сквозной поезд, он не делал остановок. На этом участке Пенсильванской линии бегут рядом четыре колеи, и нашему поезду, шедшему на восток, нечего было бояться встречных составов, следующих на запад, или экспрессов, торопящихся на восток. Путь был всецело в нашем распоряжении, и поезд, очевидно, этим пользовался. Я был в отчаянном положении. Только краешком ног держался я на узких брусьях, упираясь ладонями в совершенно гладкие, отвесные стены вагонов. При этом каждый вагон дергался на свой лад — вверх-вниз, вперед-назад. Видели вы циркового наездника, который носится по арене, стоя на двух лошадях? Примерно то же было и со мной, с той существенной разницей, что наездник держит в руках поводья, мне же не за что было держаться; он упирается всей подошвой, а я упирался краешком; он сгибает колени и корпус, и все тело его приобретает устойчивость арки, причем центр тяжести перемещается вниз, а мне приходилось стоять стоймя, не сгибая колен; он мчится лицом к движению, а я мчался боком; и, наконец, случись ему упасть, он разве что вывалится в опилках, тогда как я был бы раздавлен колесами.

Да, доложу я вам, это и вправду был лихой товарный; он летел во весь опор, наполняя воздух гулом и скрежетом, молодецки огибая закругления, с громом проносясь по эстакадам, при этом один конец вагона подскакивал вверх, а другой проваливался вниз, один конец бросало вправо, а другой заносило влево, — и я только молил в душе, чтобы поезд остановился. Но он не останавливался. Ему и не полагалось останавливаться. И вот в первый раз за мои скитания по путям-дорогам — в первый и последний — я почувствовал, что с меня хватит. Кое-как перелез я с буферов на боковую лесенку. Это была адова работа, и, глядя на гладкие стены, я только диву давался, что за скряга их строил, — ни выступа, ни выемки, не за что ухватиться!

Но тут паровоз свистнул, и я почувствовал, что поезд замедляет ход. Я знал, что остановки не предвидится, но готов был попытать счастья, если он хотя бы умерит свой аллюр.

Железнодорожное полотно в этом месте делало дугу, взлетало на мост, перекинутый через канал, и врывалось в город Бристоль. Эти обстоятельства и вызвали замедление. Я прилип к лесенке и ждал. Я понятия не имел, что мы подъезжаем к Бристолу. Я понятия не имел, чем вызвано замедление. Я знал одно: хватит с меня этой езды! В темноте я тщетно напрягал глаза,

ища какого-нибудь перекрестка. Мой вагон был в хвосте, — не успел он въехать в город, как паровоз миновал станцию и я почувствовал, что поезд прибавляет ходу.

Но вот и улица. В темноте не скажешь, широкая ли и что там, на другой стороне. А между тем я знал: для того, чтобы прыгнуть и не упасть, чем шире она, тем лучше. Я прыгнул, пока вагон был еще на этой стороне. Легко сказать — «прыгнул!»! На деле это означало следующее.

Прежде всего, стоя на лесенке, я выбросился всем телом насколько возможно вперед по ходу поезда, чтоб было куда, соскакивая, отклониться назад, потом изо всех сил высунулся наружу и стал откидываться все больше и больше назад, — и из этого положения прыгнул, словно собираясь треснуться затылком. Все это должно было ослабить инерцию, которую движение поезда сообщило моему телу. Когда ноги мои коснулись земли, тело полулежало в воздухе под углом в сорок пять градусов. Это означало, что я в известной степени преодолел инерцию, толкавшую меня вперед, — иначе, едва мои ноги стали бы на землю, я тут же клюнул бы носом. Вместо этого тело мое только приняло вертикальное положение и начало клониться вперед. Дело в том, что корпус мой еще сохранял инерцию движения, в то время как ноги, коснувшись земли, полностью ее утратили. И вот эту-то утраченную инерцию мне и надо было наверстать, заставляя ноги со всей возможной быстротой бежать, чтобы они поспевали за устремленным вперед туловищем. В результате они стали отбивать резкую и быструю дробь через всю улицу. Я не мог позволить им остановиться. Если бы они остановились, я ткнулся бы носом в мостовую. Главное было не дать им остановиться.

Я был своего рода метательным снарядом, который летит помимо своей воли и тревожится, что ждет его на той стороне улицы? Лишь бы не каменная стена и не телеграфный столб! И тут я напоролся на что-то. О ужас! Что это такое, я разобрал лишь за миг до катастрофы. И надо же, чтобы это оказался бык, стоящий в полном одиночестве в темноте! Мы вместе полетели на землю и кубарем покатались по мостовой. Полицейский автоматизм в этом несчастном был так силен, что в момент столкновения он вцепился в меня, как клещами, и уже больше не отпустил. Оба мы были ни живы ни мертвы от сотрясения; придя в себя, он мог убедиться, что вцепился мертвой хваткой в кроткого, как агнец, бродягу.

Если бык не лишен был фантазии, он, верно, принял меня за гостя из других миров, за только что прибывшего на землю марсианина, — в темноте он не видел, что я прыгнул с поезда. Ибо первым делом он спросил: «Откуда тебя принесло?» — и тут же, не дав мне ответить: «А в участок не хочешь?» Мне думается, последний вопрос был тоже задан автоматически. В сущности, это был на редкость добродушный бык. После того как я преподнес ему очередную «историю» и помог почиститься, он дал мне время до следующего товарного, чтобы убраться из города. Я выговорил два условия: во-первых, это должен быть состав, направляющийся на восток; во-вторых, это не будет поезд прямого назначения с наглухо запертыми и запломбированными вагонами. Он милостиво согласился, и этому «Бристольскому» договору я обязан тем, что не был посажен.

Вспоминается мне еще один вечер в тех же краях, когда я едва избежал столкновения с другим полисменом. Если б я свалился ему на голову, я смял бы его в лепешку, — я летел стремглав, а следом за мной, на расстоянии шага, поспешало несколько полисменов. Вот как это получилось. Я жил в Вашингтоне и квартировал на извозничьем дворе. В моем единоличном распоряжении было стойло с ворохом лошадиных попон. В возмещение за такие удобства мне полагалось каждое утро ухаживать за лошадьми. Если бы не быки, я, возможно, оставался бы там и поныне.

Однажды, часов в девять вечера, я вернулся к себе в конюшню, собираясь лечь спать, и застал там необычайное оживление. Шла игра в кости. День был базарный, и у негров имелись деньги. Но не мешает обрисовать вам обстановку. Конюшня выходила на две улицы. Войдя с главного хода, я миновал конторское помещение и попал в коридор, по обе стороны которого во всю длину здания были расположены стойла; другим концом он выходил на соседнюю улицу. Посреди коридора, под газовым рожком, сгрудилось около сорока негров. У меня не было ни гроша, и я присоединился к играющим лишь в качестве зрителя. Игра шла азартная, ставки все

время удваивались. На полу валялись деньги, монеты разного достоинства. Все, затаив дыхание, следили за игроками. И тут раздался громовый стук: кто-то ломился в ворота, выходящие на соседнюю улицу.

Несколько игроков кинулись к противоположному выходу. Я задержался на секунду, чтобы сгрести в охапку валявшиеся на полу деньги. Это не считалось воровством — таков был обычай: кто не бежал очертя голову, прикарманивал деньги.

Ворота затрещали, обе створки распахнулись настежь, и в них ворвался отряд быков. Мы ринулись в противоположную сторону. В конторе было темно. Узкий проход не вмещал хлынувшую в него толпу. Давка была отчаянная. Какой-то негр выпрыгнул в окно вместе с рамой, кое-кто — за ним. Позади полиция хватала отставших. Я очутился в дверях одновременно с рослым негром. Негр был сильнее. Толкнув меня так, что я невольно сделал пируэт, он выскочил первым. В ту же секунду его оглушил удар дубинкой, и он рухнул, как вол под обухом мясника. Оказывается, полисмены караулили и за этой дверью. Они понимали, что голыми руками такую лавину не остановишь, и усердно действовали дубинками. Я переступил через тело негра, увернулся от дубинки, нырнул под ноги какому-то полисмену и очутился на свободе. Ну и удирал же я! Впереди улепетывал поджарый мулат, и я пристроился к нему в затылок. Мулат, как видно, неплохо знал город, и я рассчитывал, что он выведет меня куда-нибудь на безопасное место. Он же принял меня за преследующего его быка и удирал во все лопатки. Я бежал без напряжения у него на хвосте и чуть не загнал его насмерть. Наконец он оступился и, грохнувшись на колени, сдался мне. Когда он увидел, что я не бык, меня спасло только то, что он совсем выдохся.

Так мне и пришлось проститься с Вашингтоном — не из-за мулата, конечно, а из-за быков. Я отправился на вокзал и на этот раз забрался на первую глухую площадку пенсильванского экспресса. Когда поезд развил полную скорость, меня взяло сомнение. Полотно было в четыре колеи, и паровозы брали воду во время хода. Приятели давно предупреждали меня, чтобы я не садился на первую площадку тендера в поездах, берущих воду во время хода. Но не мешает объяснить, что это значит. Между рельсами проложены неглубокие металлические желоба. Когда паровоз на полной скорости проходит над желобом, вниз опускают шланг, и вода из желоба бурно устремляется по шлангу в тендер.

И действительно, где-то на перегоне Вашингтон — Балтимора я, сидя на площадке тендера, вдруг ощутил в воздухе тончайшую изморозь. «Какие пустяки, — подумал я. — Значит, рассказы о неприятностях, подстерегающих нашего брата на тендере, чистейший вздор. Эка важность, если тебя чуть-чуть обрызжет водичкой». И я стал размышлять: до чего это хорошо придумано! Вот уж поезда так поезда! Не то что наши допотопные колымаги на Западе. Но тут бак наполнился, а мы еще не миновали желоб, — вода пенистым потоком хлынула через край и обдала меня с головы до ног. Я промок до костей, с меня лило, как с утопленника.

Мы приближались к Балтиморе. Поезда проходят здесь ниже уровня мостовой, по дну глубокой выемки, как почти во всех крупных городах Восточных штатов. Когда паровоз подошел к освещенной платформе, я весь съежился, — всего охотнее я забился бы в щель. Но станционный бык сразу меня заметил и пустился за мной в погоню. По дороге к нему пристало еще двое. Из-под станционного навеса я выбежал прямо на полотно. В сущности, я угодил в ловушку: по обе его стороны возвышались гладкие стены выемки, и я знал, что если полезу вверх и сорвусь, то полечу прямехонько в объятия полисменов. Я бежал все дальше и дальше, оглядываясь по сторонам: авось, попадется место, где можно выбраться. И, наконец, нашел — сейчас же за мостом, по которому проходила улица над выемкой. Я полез вверх по скату, цепляясь руками и ногами; и за мной таким же манером полезли все три моих преследователя. Вскарabкавшись наверх, я очутился на пустыре. Невысокая стена отделяла его от улицы. У меня не было времени раздумывать — за мной гнались по пятам. Я бросился к стене и перемахнул через нее. Но тут ждало меня нечто и вовсе непредвиденное. Естественно предположить, что стена одинаковой высоты как с одной, так и с другой стороны. Но эта стена была особенная. Пустырь, куда я попал, лежал много выше, нежели улица. И хотя с этой

стороны стена была невысока, зато с другой... По правде говоря, когда я взмыл вверх, мне показалось, что подо мной разверзлась пропасть. И в этот миг внизу на тротуаре, в свете фонаря, я увидел быка. Теперь-то я понимаю, что до тротуара было всего девять-десять футов. Но от полнейшей неожиданности, да притом сверху, мне показалось, что вдвое больше. Я выпрямился в воздухе и благополучно стал на землю. Я думал, что лечу прямо на полисмена, и я действительно задел его полой пиджака, когда мои подошвы гулко ударились о тротуар. До сих пор не понимаю, как только бык остался жив, — ведь я летел бесшумно, точно призрак. Это был все тот же трюковый номер — полет марсианина на землю. Ну и подскочил же он! Он так и прыгнул от меня, как лошадь от автомобиля! И тут же назад ко мне. Однако я не стал вступать с ним в объяснения. Я предоставил это моим преследователям, которые с величайшей опаской спускались со стены. Они еще задали мне гонку. Я удирал от них во всю прыть — сначала по одной улице, потом по другой, петляя и сворачивая за углы, пока не ушел от погони. Потратив немного денег из тех, что остались у меня как воспоминание об игре в кости, и скоротав с приятностью часок, я снова вернулся к железнодорожному полотну и остановился на почтительном расстоянии от станционных огней. Я уже успел остыть и дрожал всем телом в моей мокрой одежде. Но вот и поезд. Я притаился в темноте и, когда он поравнялся со мной, благополучно влез, отдав на сей раз предпочтение второй площадке тендера, — хватит с меня одного душа во время хода! Пройдя сорок миль, поезд подкатил к станции. Я соскочил на освещенный перрон, показавшийся мне до странности знакомым. Увы, я вернулся в Вашингтон! В Балтиморе от волнений, вызванных погоней, от беспорядочной беготни по улицам, оттого что я прятался за углами, кружил и сбивал с толку своих преследователей, я сам запутался и потерял направление. И в результате сел на обратный поезд. Я не спал ночь, вымок до нитки, удирал, как проклятый, спасаясь от погони, и после всех этих мытарств вернулся на старое место. О, скитаться по путям-дорогам отнюдь не значит срывать цветы наслаждений! Однако я не вернулся к себе в конюшню. Я довольно удачно подработал на игре в кости и не хотел держать ответ перед неграми. Поэтому я сел на ближайший поезд и позавтракал уже в Балтиморе.